



ВАДИМ КОЖИНОВ
ИСТОРИЯ РОССИИ
ВЕК XX

ГЛАВНАЯ КНИГА ОБ
СССР
ОДНИМ ТОМОМ

Вадим Валерианович Кожин

История России. Век XX

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18530583

История России. Век XX/ Вадим Кожин: Алгоритм; Москва; 2016

ISBN 978-5-906880-28-4

Аннотация

Работы этого автора в конце XX века взорвали традиционную историографию. Они сбросили с глаз историков пелену советской пропаганды. Сегодня его книги выдержали уже несколько переизданий и стали настольными для многих российских учёных и политиков. С полным основанием можно говорить о «кожиновской школе» в российской истории. Представляем вашему вниманию книгу Вадима Кожина (1930–2001), посвящённую истории нашего народа в XX веке, от первых революций до эпохи первого президента. Многие выводы автора парадоксальны, но все основаны на тщательном анализе конкретной исторической обстановки. Книга адресована широкому кругу читателей, в том числе преподавателям и студентам высших учебных заведений.

Содержание

Вадим Кожин	4
I	4
II	34
III	56
IV	88
Часть I	109
Глава 1	109
Глава 2	133
Глава 3	192
Конец ознакомительного фрагмента.	202
Комментарии	

Вадим Кожинов

История России. Век XX

Вадим Кожинов
О себе^[1]

I

Родословная

Более или менее общепризнано, что семья представляет собой (либо, по крайней мере, до сих пор представляла) исходный элемент общества, клетку социального организма. Но только немногие люди осознают сегодня всю значимость и необходимость изучения истории семей – родословия, *генеалогии*, без которой невозможно полноценное развитие исторической науки; генеалогические изыскания нередко воспринимаются как чисто «любительское» занятие. Между тем история родов, история семей способна уловить и понять такие аспекты, грани, оттенки истории страны в целом, которые ускользают от внимания при изучении более «крупных» компонентов общества – классов, сословий, этнических, конфессиональных, профессиональных и иных

«групп» населения.

И в конечном счете тщательное изучение истории *любого* рода, *любой* семьи – то есть, иначе говоря, личной предыстории *каждого* из живущих ныне людей (в том числе и вас, вероятный читатель этих строк) – может раскрыть нечто общезначимое и существенное для понимания исторического развития России вообще.

В дальнейшем речь пойдет и об истории моей собственной семьи, и не исключено, что кто-либо воспримет это как своего рода саморекламу. Однако, если вдуматься, подобное умозаключение едва ли правомерно. Во-первых, даже прямое превознесение, восхваление своих предков – а у меня, как станет ясно, нет ни оснований, ни желания это делать – отнюдь не способно возвысить потомка (в отличие, между прочим, от прославления своих детей и внуков, в чьих успехах присутствует – хотя и не всегда – доля усилий отца и деда). Во-вторых, в наше время (ранее дело обстояло по-иному, о чем я еще скажу) каждый человек не только имеет полную возможность изучать собственное родословие, но и – если, конечно, рассказ о его предках будет содержательным – рассчитывать на его опубликование, ибо интерес к генеалогии сегодня быстро и интенсивно растет.

Этот интерес был очень широким до 1917 года. Генеалогии посвящалось великое множество книг и статей и ряд специальных периодических изданий. Революция, отрицавшая, в сущности, все прошлое, кроме готовивших ее бунтовщи-

ков и заговорщиков, убежденная в том, что подлинная история начинается с нее, отвергала родословие как ненужный или даже враждебный хлам. В результате люди попросту опасались говорить о своих предках.

Я столкнулся с этим даже во время «перестройки». Мне стало известно, что в Воронеже живет мой дальний родственник – уже престарелый, давно перешагнувший в девятое десятилетие человек. Он состоял в переписке с другим моим родственником, москвичом, и расспрашивал обо мне. И я отправил ему письмо, в котором, в частности, просил сообщить известные ему сведения об одном из моих прадедов – священнике Илье Михайловиче Флерине (отце моей бабушки по материнской линии). Но мой двоюродный дядя воспринял эту просьбу не больше и не меньше как провокацию и гневно написал московскому родственнику, что отказывается от всякого общения со мной... [...]

* * *

Мой дед, сын псковского крестьянина Федор Яковлевич Кожин (1869–1922), в какой-то мере интересовался своей родословной, и нет оснований усомниться в достоверности переданных им моему отцу сведений о том, что его прадед, то есть мой прямой предок в пятом поколении, отец супруги моего прапрадеда Анисима Фирсовича Кожина (то есть отец моей прапрабабки), Федул Русаков сражался в качестве

рядового гусара на Бородинском поле и французская пуля прострелила его кивер.

Я считаю уместным излагать известные мне сведения о своем роде потому, что вижу в его судьбе прямое и яркое воплощение судьбы России XIX–XX веков. Разумеется, нельзя изучать историю страны в рамках истории одной семьи, однако в этой – имеющей вроде бы сугубо частный и случайный характер – сфере в самом деле нередко раскрывается весьма существенное содержание, которое невозможно уловить и понять на пути исследования истории страны «вообще».

Одной из главных (если не главной) причин Революции (прописная буква здесь означает, что речь идет обо всех переломных событиях истории России в XX веке, начиная с 1905 года) было невероятно бурное и стремительное развитие страны, начавшееся примерно с 1880-х годов и, особенно, с 1890-х. Это с очевидностью выразилось, в частности, в области образования. Из содержательного исследования В. Р. Лейкиной-Свирской «Интеллигенция в России во второй половине XIX века» (М., 1971) можно узнать, что всего за 17 лет – с 1880 по 1897 год – количество (годовое) учащихся в гимназиях возросло с 75 до 220 тысяч, то есть почти в три раза; к концу века в России было уже более миллиона (!) людей с гимназическим образованием.

До сих пор распространено внедренное в чисто идеологических целях представление, согласно которому до 1917 и уж, конечно, до 1900 года гимназии и тем более выс-

шие учебные заведения заполняли дети дворян. В книге же В. Р. Лейкиной-Свирской на основе документов показано, что даже и в 1880-е годы дворянские дети составляли *значительно менее половины* и гимназистов (не говоря уже о реалистах – воспитанниках реальных училищ), и студентов.

И вот как это выразалось в истории одной семьи. Мой прадед по материнской линии, Андрей Прохорович Пузицкий, был рядовым ремесленником – мещанином городка Белый Смоленской губернии (ныне – в Тверской области). Сохранился его фотоснимок, и поскольку тогда было принято фотографироваться в своей лучшей одежде, ясно, что перед нами человек очень низкого социального статуса. Тем не менее его сын Василий Андреевич Пузицкий, родившийся в 1863 году, окончил в 1878 году Вельскую четырехклассную прогимназию (впоследствии в ней, между прочим, преподавал В. В. Розанов), а в 1885 – имевшую высокую репутацию Смоленскую гимназию (в обеих он, разумеется, учился на казенный счет) и в том же году поступил на историко-филологический факультет Московского университета, который окончил в 1889 году.

Дед мой умер за четыре года до моего рождения, и я получил определенное представление о нем лишь в шестнадцать лет, когда среди старых вещей обнаружил многостраничную записную книжку, подаренную ему «за отличные успехи и отличное поведение» при окончании Вельской прогимназии. Дед пользовался этой книжкой до окончания уни-

верситета, и его многочисленные разнообразные записи так или иначе открыли передо мной его юность.

Уже в гимназии, как свидетельствуют записи, он давал уроки детям из привилегированных семей, а в университетские годы своим неустанным репетиторством не только целиком обеспечивал себя, но и фактически содержал оставшуюся в Белом семью. В один, как говорится, прекрасный день кто-то рекомендовал его очередному нанимателю, и появилась следующая запись: «С 22 августа 1887 года до 1 октября в селе Мураново Московской губернии и уезда у действительного статского советника Ивана Феодоровича Тютчева – 60 рублей в месяц, Ольга Николаевна (супруга И. Ф. Тютчева, урожденная Путята. – В.К.), София Ивановна, Федя, Коля, Катя» (четверо детей И. Ф. Тютчева – внуков великого поэта).

Есть все основания полагать, что в Муранове, где мой дед был домашним учителем и на следующее лето (с 15 мая по 1 сентября, как явствует из другой записи), а затем постоянно поддерживал связь с его обитателями вплоть до своей кончины в 1926 году, Василий Андреевич не только учил, но и учился, о чем еще пойдет речь.

* * *

В 1946 году, через почти шестьдесят лет после своего деда, я явился с его записной книжкой в руках в подмосков-

ное Мураново и встретился здесь с внуком поэта и воспитанником моего деда Николаем Ивановичем Тютчевым (1876–1949). Он принял меня с необычайным радушием, хотя был я еще, в сущности, мальчишкой, к тому же весьма небрежно (если выразиться помягче) одетым и со сверточком, в котором хранился «обед» – ломоть хлеба и половина луковицы; ведь этот первый послевоенный год был ох каким голодным...

Покоряющее радушие Николая Ивановича объяснялось (это я понял уже позднее) несравненным демократизмом истинного аристократа, а также, наверное, тем, что я был как бы живой вестью из его отрочества, которое всегда составляет дорогую часть человеческой памяти. Он прекрасно помнил моего деда Василия Андреевича и представил меня – в качестве его заранее ценимого внука – своим сестрам Софье Ивановне и Екатерине Ивановне; первая из них, как мне виделось, сохраняла в той или иной степени подлинно фрейлинскую, придворную осанку и прическу.

Николай Иванович – по крайней мере, в моих глазах (на его известном раннем портрете это гораздо менее заметно) – имел волнующее сходство со своим великим дедом, которого я тогда уже неплохо знал и боготворил. И одет Николай Иванович был – о чем он мне сам сообщил – в костюм-тройку, сшитый еще в прошлом веке.

Разговор был многообразный. Помню, как раздались вроде бы удары колокола, и я спросил: «Это что – звонят в здеш-

ней церкви?» – а Николай Иванович лаконично возразил с не очень доброй иронией и пренебрежительным жестом: «Нет, это – коль-хоз» («л» он произнес именно мягко и поделил слово пополам). Вместе с тем он весьма сочувственно отозвался (мне, правда, его суждения показались как-то не соответствующими возрасту его собеседника, то есть меня) о принятом незадолго до того новом жестком законодательстве о браке:

– Слава богу, а то ведь Россия прямо-таки в публичный дом превратилась.

Своего рода контрастом к «кольхозу» было и явно горделивое сообщение Екатерины Ивановны о ее сыне:

– А знаете, книгу нашего Кирилла Васильевича о Кутузове одобрил Сталин!

Впрочем, несмотря на эти выходы в современность, я ясно видел, что передо мной люди, живущие согласно с теми духом и буквой, которые, казалось, начисто были уничтожены за три предшествующих десятилетия. Я чувствовал себя словно в некоем заколдованном мире, – как в сцене «Страна Воспоминаний» из виденного мною перед войной метерлинковского спектакля «Синяя птица» в чудесной – сохраненной еще с дореволюционных времен – постановке Художественного театра.

Не могу умолчать о несколько конфузной ситуации, имевшей место во время моего следующего (в том же году) приезда в Мураново. Николай Иванович тогда явно ожидал ко-

го-то, сидя в кресле на терраске дома, и мы здесь же начали наш разговор. Но вскоре из близлежащей сельской улицы, переваливаясь на ухабах и в лужах, показался черный «ЗИС-110» – престижная автомашина тех лет. Николай Иванович встал и молча двинулся навстречу. Когда «ЗИС» подъехал, из него степенно вышел внушительного вида священнослужитель, но затем они с Николаем Ивановичем стали по-братски и с радостными, лишенными чинности возгласами обнимать друг друга. Ведя дорогого гостя к дому, Николай Иванович заново обнаружил меня и столь же радостно обратился к гостю:

– А ты знаешь, кто это? Это внук Василия Андреевича Пузицкого, которого ты, я думаю, помнишь.

Гость улыбнулся и протянул мне руку, но как-то странно, на уровень губ. Я же все-таки родился и рос не в те времена и, несколько удивившись манере протягивать руку так высоко, осторожно пожал ее. Кажется, это смутило моего нового знакомого...

Впрочем, было очевидно, что сейчас я здесь лишний и лучше всего немедленно попрощаться, договорившись о приезде в другой раз. И в этот другой раз я узнал, что оттеснившим меня гостем был Патриарх Московский и всея Руси Алексий (1877–1970), который когда-то, будучи еще Сережей Симанским, учился вместе со своим сверстником Колей Тютчевым в distinguished Катковском лицее (на его «базе» впоследствии возник МГИМО) и часто гостил в Муранове, где

присутствовал и на уроках моего деда...

* * *

Впоследствии от Кирилла Васильевича Пигарева (1911–1984), правнука поэта, с которым мы вместе состояли в штате сотрудников Института мировой литературы, я узнавал новые подробности «вживания» моего деда в дом тютчевских потомков; так, он рассказывал, что в его отроческие годы мать учила его по написанному в конце XIX века В. А. Пузицким (и многократно переиздававшемуся) пособию для младших классов «Отечественная история».

Через много лет Кирилл Васильевич передал мне фотографию моего деда с такой надписью на обороте: «Дорогому Феде на память от В. Пузицкого. 21 сентября 1888 г. Мураново», а также любительский снимок, на обороте которого Н. И. Тютчев (Коля дедовой записи) впоследствии начертал: «Ф. И. Тютчев-младший^[2] (тот самый Федя. – В.К.) и В. А. Пузицкий. Большая Молчановка, дом князя Оболенского» (тесен мир: я уже много лет живу на этой самой Молчановке, в двух шагах от места, где стоял дом Оболенских).

И, повторюсь, соприкосновение моей семьи с тютчевской очень много значило для меня – вероятно, даже больше, чем я осознаю. Когда в 1976 году я начал работу над пространственным жизнеописанием поэта для известной серии «Жизнь замечательных людей», в какой-то момент мне стало ясно, что

исток моей книги восходит к событию тридцатилетней давности – приезду в Мураново в 1946-м (книга «Тютчев» была завершена и сдана в издательство в 1983 году, но из-за «цензурных» препятствий смогла выйти в свет только в 1988-м).

* * *

Окончив университет, дед мой преподавал в гимназиях различных городов – от Ломжи до Владимира, – издал ряд учебных пособий, имевших широкое распространение, занимался общественной деятельностью. Вершиной его карьеры была должность инспектора distinguished 2-й Московской гимназии на Разгуляе; к тому времени он дослужился до «генеральского» чина действительного статского советника. Достаточно просто сравнить его портрет с портретом его отца, чтобы увидеть, какое «превращение» могло свершиться тогда, в конце XIX – начале XX века...

Кто-либо воспримет это как некий исключительный случай – и глубоко ошибется. Подобные «превращения» пережили в то время *сотни тысяч* людей (напомню, что более полумиллиона людей, имевших к концу XIX века гимназическое образование, не принадлежали к дворянству), и карьера моего деда совершенно незначительна, скажем, в сравнении с карьерой родившегося пятью годами ранее, в конце 1857-го, М. В. Алексеева, ибо этот сын простого солдата, окончив Тверскую гимназию, а затем Московское юнкерское

училище, достиг высшего чина генерала от инфантерии и должности начальника штаба Верховного главнокомандующего во время войны 1914–1917 годов; после Февраля 1917-го он сам стал Верховным главнокомандующим.

Но этот человек шел иной дорогой, чем мой дед. Как и резко возвысившиеся в Феврале 1917-го более молодые генералы А. И. Деникин (он родился пятнадцатью годами позднее Алексеева в семье крепостного крестьянина и затем солдата, который в данном случае уже сам совершил рывок вверх, став офицером) и Л. Г. Корнилов (сын казачьего хорунжего – то есть всего-навсего унтер-офицера), Михаил Васильевич Алексеев исповедовал сугубо *либеральные* убеждения, которые безусловно господствовали в среде выходцев из низших сословий, получивших в конце XIX – начале XX века солидное образование.

Упомянутая записная книжка моего деда свидетельствует, что в юные годы и он не был чужд либеральных веяний – вплоть до религиозных сомнений. Но длительное время, проведенное им в доме Ивана Федоровича Тютчева, явно оказало на него сильное воздействие. Общеизвестно, что отец Ивана Федоровича был убежденным *консерватором*. Но он, великий поэт и великий мыслитель (вторая сторона его творчества, к сожалению, известна до сих пор немногим), глубоко и объективно понимал *реальный* исторический путь России и еще с 1850-х годов ясно предвидел неизбежность Революции (это показано в моей книге «Тютчев»,

изданной в 1988 и затем в 1994 году).

Между тем консерватизм его сына Ивана был, так сказать, прямолинейным и как бы не считающимся с реальностью. Иван Федорович, в частности, был слишком тесно связан с императорским двором, при котором он состоял в звании гофмейстера (что соответствовало чину тайного советника); позднее получили придворные звания и все его четверо детей – Федор и Николай, Софья и Екатерина.

Федор Тютчев-младший умер в 1931 году, а с другим внуком и внучками поэта я познакомился в 1946 году, когда, узнав из записной книжки деда о его пребывании шестью десятилетиями ранее в Муранове, не раз приезжал туда, чтобы отыскать какие-либо его следы.

Василий Андреевич в зрелые свои годы предстает как последовательнейший монархист («более роялист, чем сам король») и догматически церковный человек. Едва ли случайно, что вскоре после окончания университета он женился на дочери священника Ильи Михайловича Флерина, служившего в храме Дмитрия Солунского на углу Тверской и Тверского бульвара (на этом месте давно построен дом с известным в Москве магазином «Армения»); эта моя бабушка, Евгения Ильинична, до конца своих дней (она умерла в 1943 году) сохраняла глубочайшую религиозность.

Естественно, многое из того, что происходило в стране в 1900—1910х годах, никак не устраивало Василия Андреевича. И дело кончилось тем, что после одной из его публичных

речей, в которой он весьма резко критиковал Николая II за «либерализм», его уволили из 2-й Московской гимназии, и он вынужден был отправиться в городок Егорьевск (недалеко от Коломны) в качестве директора местной гимназии.

Его «реакционность» отозвалась и через много лет. В 1980 году известный исследователь «Слова о полку Игореве» В. И. Стеллецкий готовил к изданию его текст в сопровождении целого ряда переводов и переложений. Я предложил ему включить в книгу весьма удачный, на мой взгляд, перевод В. А. Пузицкого, вошедший в составленное им учебное пособие.

Стоит сообщить, что 2-я гимназия помещалась во дворце, построенном в свое время М. Ф. Казаковым для графа А. И. Мусина-Пушкина, открывшего «Слово о полку Игореве», рукопись которого, увы, и сгорела в этом самом дворце во время московского пожара 1812 года...

Но вернемся в наши дни. Познакомившись с переводом «Слова», сделанным Пузицким, Стеллецкий очень высоко его оценил, заметив, что превосходит этот перевод только один – сделанный им самим (Владимир Иванович, как говорится, знал себе цену), и включил его в свое издание. Однако книга вышла в свет в 1981 году все же без перевода моего деда, и Стеллецкий, принеся извинения, сказал мне, что Пузицкий, как ему стало известно, был ярым монархист, и воскрешение его имени могло вызвать страшный скандал...

Но прошло всего десятилетие с небольшим, и в 1994 го-

ду совершенно неожиданно для меня в Саратове переиздали (50-тысячным тиражом!) другое произведение Пузицкого – учебное пособие «Отечественная история» – под измененным названием «Родная история». Эта книга выдержала в свое время 16 изданий (последнее – в 1916 году), но ее переиздание в наше время, признаюсь, не очень меня порадовало, ибо она представляет собой не столько воссоздание исторической жизни России, сколько благостное «житие»; учащиеся начала XX века, усвоившие это пособие, никак не могли бы на его основе вообразить себе, что в России возможна Революция (замечу в скобках, что в Муранове тем не менее, как мне точно известно, знакомили с историей детей – уже правнуков поэта – именно по этой книге моего деда).

В. А. Пузицкий был – по крайней мере в своей среде – скорее исключительным, нежели типичным человеком. Преобладающее большинство образованных людей склонялось тогда к «прогрессивности» и либерализму, а многие – в той или иной степени к открытой революционности. Характерный факт: младшая сестра его жены, Софья Ильинична Флерина, вышла замуж за сына купца, к тому же учившегося в Коммерческом институте, Семена Ивановича Аралова (1880–1969). Однако этот человек уже тогда состоял в РСДРП, правда, в ее меньшевистской фракции, а после 1917-го стал большевиком и заведовал военным отделом ЦК РКП(б) (поскольку ранее служил в армии), был членом Реввоенсовета Республики (и тесно сблизился с Троцким), а

затем видным дипломатом (в частности, послом в Турции). Трудно представить себе, как общался Василий Андреевич с этим достаточно близким «свойственником»...

И всецело закономерен семейный крах Василия Андреевича: он ни в коей мере не смог воспитать в своем духе любимого сына Сергея (брата моей матери). В Егорьевске юный Сергей сблизился с гимназистом Георгием Благонравовым (1896–1938), который в Октябре 1917-го стал комиссаром Петропавловской крепости и руководил обстрелом Зимнего дворца, а с 1918 года был видным деятелем ВЧК и затем ГПУ. И этот новый сотоварищ сумел вырвать Сергея из-под духовной власти отца, о чем, между прочим, с одобрением рассказано в изданной в недавнее время книжке о Г. И. Благонравове. С 1921 года Сергей Васильевич, к ужасу своего отца, стал служить в ВЧК и затем ГПУ (правда, впоследствии он вместе со своим непосредственным начальником, знаменитым А. Х. Артузовым, перешел на службу в армейский «Разведупр»).

С. В. Пузицкий (1896–1937), в частности, играл перво-степенную роль в операциях по захвату широко известных контрреволюционеров – Б. В. Савинкова и генерала А. П. Кутепова (еще раз скажу о том, как тесен мир: через много лет я неожиданно встретился и сблизился с сыном Кутепова, Павлом Александровичем, после долгих жизненных перипетий служившего в Московской патриархии). Два ордена Красного Знамени были получены за эти операции; любопытна сохра-

нившаяся фотография – Ф. Э. Дзержинский (совсем незадолго до смерти) на отдыхе вместе с близкими соратниками; Сергей Васильевич сидит через два человека по правую руку Дзержинского. Впоследствии образ Пузицкого не раз появлялся на страницах романов о чекистах и на киноэкране.

Отец Сергея Васильевича скончался в 1926 году почти одновременно с Дзержинским (задача для проницательного писателя – как воспринял чекист это двойное осиротение...). За несколько дней до смерти Василий Андреевич считал нужным написать послание своей семье: «Жду кончины с каждым днем. Простите меня и прощайте». Он высказался – в смиренном христианском духе – о каждом из своих четырех детей; о руководящем сотруднике ГПУ он написал: «Сережа добрый человек и скоро вернется на путь истины, и тогда Господь благословит его на все доброе и пошлет ему благополучие во всем. А пока заблуждается во многом». И далее: «Похороните меня подальше от красных...»

Сергея Васильевича я помню, но очень смутно. Он иногда навещал свою мать – мою бабушку, однако мне было тогда не более шести лет, и меня больше интересовала автомашина, на которой он приезжал, ибо в нашем Новоконюшенном переулке около Пироговских клиник и Девичьего поля, которое, в сущности, было тогда окраиной (менее двух километров от границы города), автотранспорт появлялся очень редко. А в 1937-м Сергея Васильевича расстреляли – что для того времени закономерно... И многие члены семей Пузиц-

ких и Кожинových старались не вспоминать при посторонних ни о сыне (до 1956 года), ни об отце (до 1991 года).

Мне представляется несомненным, что глубокое и все-стороннее осмысление судеб отца и сына Пузицких может чрезвычайно много дать для понимания судеб страны в целом. Путь, начатый отцом в мещанском домишке захолустного городка (кстати, в Белый и сейчас не ведет железная дорога!), привел его к чину штатского генерала. Сын воспитывался в гимназии, руководимой отцом; фотография запечатлела его десятилетним исправным учеником 2-й Московской классической гимназии (по правую руку от него – старший брат Николай, родившийся в год восшествия на престол последнего царя и названный в его честь; он погиб совсем юным от заражения крови). Всего через *полтора десятилетия* этот мальчик станет заместителем начальника контрразведки огромной страны, и при позднейшем восстановлении воинских званий он окажется комкором, что соответствовало нынешнему генерал-лейтенанту; к тому же тогда людей со столь высокими званиями было неизмеримо меньше, чем теперь.

Но и отец, и, позднее, сын были, в сущности, раздавлены той самой Историей, которая дала им возможность высоко подняться...

Не исключено, что кто-нибудь усомнится в «представительности» моих размышлений о судьбе рода Пузицких; речь идет, могут возразить мне, об одной семье, и уместно ли строить какие-либо обобщения на таком единичном «материале»?

Однако и другая, отцовская, ветвь, в сущности, демонстрирует то же самое, хотя пережитое в семье отца в конце XIX – начале XX века «превращение» не столь значительно, как в семье матери (вполне вероятно, потому что предки матери были горожане – пусть даже и из малого городка: в нем все же имелась прогимназия, а отцовский род – крестьянский, деревенский).

Мой прадед по отцу, Яков Анисимович Кожинов, был крестьянином (из так называемых вольных хлебопашцев) Порховского уезда Псковской губернии, и шуточная самохарактеристика – «мы – пскопские» – перешла через деда к отцу. В родной деревне у него что-то не заладилось, и он, еще молодым человеком, перебрался в Петербург, где стал, как тогда именовалось, мастеровым. Правда, жену, деятельную Евфимию Петровну Афанасьеву, он привез все же из своей деревни. Она родила ему в 1869 году сына Федора (моего деда), но всего через три года Яков Анисимович скончался. Тем не менее, мать сумела устроить сына на казенный счет

в военно-фельдшерскую школу. А такие учебные заведения в те времена удивительно «формировали» своих воспитанников. На сохранившейся фотографии мой дед запечатлен в день окончания школы, и ныне нелегко встретить столь изящного прапорщика – хотя перед нами сын мастерового.

В 1901-м Федор Яковлевич женился на «простой» продавщице Марии Никаноровне Соломатиной (1879–1962). Она была дочерью мещанина города Ряжска Рязанской губернии, который в 1857 году откупил себе в жены крепостную крестьянку Анну Киселеву за 355 рублей ассигнациями, и она родила ему 18(!) детей, причем все жили долго (те из них, кто дожил до 1941 года, погибли во время ленинградской блокады). Никанор Иванович Соломатин перебрался позднее в Петербург, где и умер в 1891 году. Вскоре после его кончины до Петербурга добралась эпидемия холеры, в результате чего, в частности, цены на считавшиеся «безопасными» продукты питания резко выросли, а на овощи и фрукты – упали до минимума. И, как рассказывала мне бабушка, ее мать приносила с рынка огромную бельевую корзину с овощами и фруктами, ставила на стол и в сердцах говорила: «Жрите и подышайте!» «Но мы, – смеясь, заключала свой рассказ бабушка, – только здоровели...»

Ф. Я. Кожин служил в качестве фельдшера в Главном артиллерийском управлении, помещавшемся в знаменитом Инженерном (Михайловском) замке, где ему была предоставлена казенная квартира на пятом этаже (этот этаж про-

сматривается только из внутреннего двора замка). В свое время это помещение было дортуаром Главного инженерного училища, и именно в нем обитал в 1838–1843 годах Достоевский. И мой отец родился в 1903 году в комнате, которую ровно за шестьдесят лет до того покинул Федор Михайлович (еще раз замечу: тесен мир).

Федор Яковлевич так и остался фельдшером и дослужился только до чина штабс-капитана (соответствует нынешнему старшему лейтенанту). Но он, очевидно, был все же мастером своего дела, и его, в частности, не раз командировали на заграничные курорты для руководства лечением отправляемых туда из Петербурга больных, и так он побывал в нескольких западноевропейских странах.

Поскольку положение в дореволюционной России тенденциозно искажено, в этих поездках моего деда могут усмотреть нечто «не типичное». Но в ценном исследовании демографа Р. И. Сифман (написанном ею еще в начале 1930-х годов, но опубликованном только в 1977-м в содержательном сборнике «Брачность, рождаемость и смертность в России и в СССР») показано, что граждане России в течение 1897–1913 годов выезжали за границу около 83 миллионов (!) раз, – что не означает, понятно, невероятно громадного количества заграничных путешественников (напомню о численности российского населения: в 1897 году – 125,6 млн., в 1913 – 165,7 млн.), ибо многие люди за эти 17 лет отправлялись за рубеж неоднократно, или даже многократно. Но все

же речь идет о десятках миллионов, побывавших за рубежом. Поистине стремительное развитие России ярко выразилось в том, что если в 1897 году заграничные путешествия совершили 1,5 млн. человек, то в 1913-м уже 9 млн. человек – то есть в шесть раз больше!^[3] Мой дед и путешествовал незадолго до Первой мировой войны в этом мощном потоке.

А в 1914 году Федора Яковлевича назначили начальником «Юсуповского лазарета для раненых воинов» на Литейном проспекте, созданного по инициативе и на средства уже упомянутого князя Феликса Юсупова. Федор Яковлевич, естественно, не раз встречался в лазарете и с князем, и с его супругой – племянницей (и вместе с тем троюродной сестрой) Николая II, которая избежала участи многих других Романовых, так как в 1917 году находилась вместе с мужем в Крыму.

Отец мой по воле деда учился в Анненшуле^[4] на Кирочной улице – учебном заведении, где преподавание велось частично на немецком языке. Правда, в разгар войны многие преподаватели (в основном австрийского происхождения) были объявлены вражескими агентами, Анненшуле закрылась, и отец мой доучивался в 3-й Петроградской гимназии, учеником которой после революции – ввиду закрытия Александровского (бывшего Царскосельского) лицея – оказался и сын именитого сенатора и гофмейстера, в будущем известный своими мемуарами «На чужбине» Л. Д. Любимов; он после долгой эмиграции (с 1919 года) вернулся на родину и в середине 1950-х годов возобновил приятельские отно-

шения с моим отцом. Общение с Львом Дмитриевичем было весьма интересным, но это – особый разговор.

Мой дед по отцовской линии – в отличие от В. А. Пузицкого – не имел никакого отношения к «идеологии», и потому после 1917-го просто продолжал свою работу. Он погиб на лекарском посту во время очередной вспышки эпидемии тифа в 1922 году. Отец мой тогда учился в Московском высшем техническом училище (это, основанное еще в 1830 году, учебное заведение не так давно некие не очень культурные люди переименовали ради престижности в «университет», не понимая, что известное всей стране и за рубежом старинное обозначение «училище» гораздо почтеннее), окончив которое стал незаурядным инженером.

Подобно своему отцу Федору Яковлевичу, он явно стремился быть прежде всего или даже только «профессионалом», – в частности, не принимал никакого участия в различных студенческих волнениях 1920-х годов, а их было тогда немало – и самого правого и самого левого толка. Учившийся одновременно с моим отцом в МВТУ Г. М. Маленков в 1924 году начал свою партийную карьеру именно борьбой с троцкистами «внутри» училища.

И до конца своих дней (он умер в 1975 году) Валериан Федорович, если заходила речь о политических и идеологических проблемах, только в редчайших случаях мог – в присутствии самых близких людей – высказать нечто не соответствующее диктуемой в данный момент «официальной» точ-

ке зрения. Ясно помню (хотя мне было тогда всего 9 лет) спор Валериана Федоровича о пакте СССР и Германии 1939 года с одним из братьев его жены – Владимиром Васильевичем Пузицким, который – что было для того времени весьма дерзким – полностью отрицал какое-либо миролюбие Гитлера.

Сейчас господствует представление, что люди, не противоречившие официальной государственной линии, – презренные приспособленцы, а те, кто позволял себе критику (пусть даже в своем узком кругу), – заслуживающие уважения самостоятельные личности. Однако жизнь сложнее любых моралистических схем. Во-первых, никакая страна не может существовать, если все ее граждане (да и хотя бы преобладающее их большинство) отрицают политику государства. Во-вторых, критические настроения и разговоры – это одно, а реальное жизненное *поведение* людей – совсем другое. Можно бы привести множество фактов, доказывающих, что *конформист* Валериан Федорович не был – в своем реальном бытии – в большей степени приспособленцем, чем споривший с ним Владимир Васильевич (скорее даже наоборот...). Так, в последнее время то и дело публикуются сведения о том, что люди, имеющие репутацию «диссидентов», вместе с тем являлись негласными сотрудниками «органов безопасности»...

Впрочем, это особенная, сложная и острая тема. И закончить уместно следующим, по-своему забавным, сюже-

том. Женитьба Валериана Федоровича в 1929 году на дочери действительного статского советника В. А. Пузицкого могла иметь место, очевидно, *только благодаря Революции*. До сих пор многим помнится старинный иронический романс на слова известного в свое время стихотворца П. И. Вейнберга:

Он был титулярный советник,
Она – генеральская дочь,
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.

Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь —
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь.

Чин штабс-капитана, до которого дослужился мой дед по отцовской линии, соответствовал именно штатскому чину титулярного советника, да и отец мой едва ли сумел бы к своим двадцати шести годам достичь более высокого чина...

И – прошу извинить – снова о том, как тесен мир. Дворец А. И. Мусина-Пушкина, где помещалась 2-я гимназия, инспектором которой несколько лет был отец моей матери В. А. Пузицкий, после революции передали Московскому инженерно-строительному институту (при этом, увы, обезобразив казаковскую архитектуру надстроенным четвертым

этажом), где стал преподавать мой отец...

* * *

Я изложил только немногие из известных мне сведений о своем *родословии*, но, полагаю, и из них ясно, что жизнь семьи так или иначе вбирает в себя историю страны в многообразных ее выражениях и с определенной точки зрения способна открыть перед нами нечто существенное и, главное, недоступное обобщенному взгляду на эту историю.

Подчас я живо ощущаю под собой широко раскинувшуюся «корневую систему»; взять хотя бы прадедов – крестьянин Псковской губернии, мещанин из Рязьска, женившийся на купленной им крепостной девушке, мещанин городка Белый и московский священник... Словом, чуть ли не вся основная Русь – ее север, юг, запад и центр.

Может быть поэтому, с каких-нибудь 14–15 лет я очень серьезно изучал историю России, конечно, для своего возраста серьезно. У меня была написана (к сожалению, впоследствии она затерялась) моя собственная «История Москвы». Меня окружало несколько одаренных и мыслящих молодых людей, школьников. В частности, в последние годы войны мы с моим другом Николаем Запениным, увы, рано погибшим в авиационной катастрофе, обошли всю Москву целиком – разумеется, в тогдашних пределах, в пределах застав, – и все подмосковные усадьбы: Кусково, Коломенское

и прочие. И я тогда научился почти со стопроцентной точностью называть десятилетие, в котором построено то или иное московское здание, хотя, может быть, я вижу его в первый раз. Мы очень серьезно изучали архитектуру, то замкнутое пространство, в котором, собственно, и совершалась вся жизнь города.

Возможно, сыграло свою роль то, что было несколько человек, может быть, чем-то похожих на «мальчиков» Достоевского, которые разделяли этот интерес. Возможно, это изучение своей культуры было связано с неизбежно поднявшимися во время войны патриотическими чувствами.

Хотя я, впрочем, не чурался и западной культуры, и к 16 годам был достаточно хорошо осведомлен в европейской литературе и так далее.

Большую роль в моем становлении, когда мне было лет 14, сыграл Игорь Сергеевич Павлушков. Это был человек из богатой купеческой семьи, после революции, естественно, ничего у него не осталось. Он учился в знаменитом Брюсовском институте – был такой предшественник Литературного института – и он знал всех лично: от Цветаевой, Мандельштама и Брюсова до Есенина; сам писал стихи – не скажу, что высокого уровня, но неплохие. С ним случилось несчастье – он оглох полностью и обычно общался через записки на бумаге. Из-за этого, кстати, у него испортилась речь – он стал говорить неразборчиво, косноязычно. И он стал нищим, самым настоящим нищим. Не бомжем – у него была какая-то

клетушка под Москвой. Но доходило до того, что он в пригородных поездах собирал милостыню. И вот этот человек пытался открывать молодые поэтические дарования. Он ходил по школам с соответствующей бумагой, где Маршак, который сделал ему такое одолжение, просил оказывать всяческое содействие. Пришел он и в нашу школу, меня к нему направили, мы подружились. Он многое рассказывал, читал стихи поэтов начала века, многие из которых были запрещены. И если бы не он, я, возможно, по-иному отнесся бы к докладу Жданова. С теми мальчиками, в которых ему виделась Божья искра, он возился самозабвенно, жил интересами литературы, именно благодаря ему я оказался в гостях у Маршака, который при мне прочитал мои стихи и направил меня в литстудию при Дворце пионеров. Я там был всего однажды, прочитал стихи, имел даже какой-то успех, но больше туда не ходил. Через Павлушкова же мое первое стихотворение было напечатано в «Пионерской правде», и это было для меня, не скрою, большим событием. Кроме того, как-то так получилось, что мне пришлось много читательских писем – это было самое начало 1946 года. Но больше я ни одного своего стихотворения не напечатал, хотя писал стихи и после поступления в университет, до 19 лет. Тогда меня уже окружали какие-то поэты – это естественно для человека, который пишет стихи, он связывается с себе подобными. Ну и как-то я понял, что один из моих коллег талантливей меня в этой области, талантливей меня поэтически. Тогда, поняв это, я

сам собой перестал писать стихи. Что меня смутило – зачем заниматься делом, которое другой умеет делать лучше?

В лесу под тенью ели
Рос маленький грибок,
Его родило солнце,
А вырастил дождёк.

Потом грибочек вырос
Стал красен и хорош,
Но в лес пришли ребята
И вырвали его.

А я пришел за ними
И ямку увидал,
И все по этой ямке
Я вам и рассказал^[5].

«У нас с тобой пути и души разные...»

У нас с тобой пути и души разные.
Наутро встреча, вечером разлука.
Но верь – до смерти я к тебе привязан
Любовью брата, уваженьем друга.

А где-то в памяти мерцает прошлое,
И если вдруг умолкнуть и взглядеться -

Я вижу – в теплых валенках с калошами
В снегу Девички бродит наше детство^[6].

II

Детство. «Феномен двора»^[7]

Мне представлялось уместным рассказать о своих прадедах и дедах, в частности потому, что то или иное их «наследие» сохранялось в бытовой и душевной жизни семьи, в которой я рос. Сам дом, где началась моя жизнь, до революции принадлежал вместе с тремя расположенными в том же дворе моему деду В. А. Пузицкому и сдавался жильцам, а после 1917 года дед сам стал вносящим квартплату жильцом. Для ясности скажу, что дедовы домовладения не являлись столь уж доходными. Это были небольшие двухэтажные деревянные строения с оштукатуренными фасадами, находились они к тому же на тогдашней окраине Москвы и проживали в них рядовые люди. Дед с семьей поселился на втором этаже одного из своих больших домов, а на первом этаже и до 1917 года, и после жила семья рабочего-слесаря – правда, высокой квалификации. Квартира, в которой поселились дед, его жена, ее овдовевшая родная сестра, двое младших сыновей и дочь Ольга (моя мать), имела жилую площадь около 45 кв. м. плюс тесные кухня и передняя. Но в дореволюционное время квартиры для небогатых семей обычно состояли из небольших и даже крохотных комнат, и дедово жилище делилось на пять комнат и комнатушек (правда, две из них были «проходные»), площадь от 12 до 6 кв. м., для семьи из

шести человек это было вполне сносно.

Но история страны развивалась так, что к 1941 году положение в квартире стало совсем иным. Из-за переноса столицы государства в Москву город стал бурно расти: его население с 1917 до 1939 года увеличилось почти в два с половиной раза, на 140 % (для сравнения: население Петрограда-Ленинграда выросло за это время всего на 30 %), а площадь жилищ – только на 50 %, ибо почти все силы и средства поглощала тяжелая промышленность.

Сыновья и дочь моего деда обзавелись семьями, и к 1941 году в квартире жили уже не 6, а 15 человек, включая двух «домработниц», почти обязательных тогда в семьях служащих, – даже с невысокой зарплатой. Дело в том, что после коллективизации массы деревенского населения уходили в города, и многие крестьянские девушки нанимались в домработницы за мизерную плату: главным для них было пропитание и место проживания, к тому же, со временем большинство из этих девушек устраивались на иную работу, выходили замуж и т. д. Таким образом, в «истории» дедовой квартиры отражалась история страны с ее индустриализацией, коллективизацией, подготовкой к вероятной войне и т. д. В Москве, в силу огромного прироста населения, положение с жильем было особенно прискорбным. Так, мать моего отца жила с дочерью и вторым сыном в «коммуналке», в комнате площадью 12 кв. м. Три кровати занимали половину площади, и утром на них укладывали много различных

вещей, которые вечером перед сном располагались на столе, стульях и просто на полу. Но должен сказать, что я, поскольку не знал более сносных жилищных условий, не считал подобную тесноту чем-то нетерпимым или хотя бы ненормальным. Вместе с родителями я довольно часто приезжал к бабушке, мы вшестером каким-то образом (правда, не без труда) размещались за столом, а она, искусная повариха, угощала нас замечательным обедом, завершавшимся приготовленным ею в старинной мороженице вкуснейшим мороженым. Ныне о жизни людей в 1930-х годах чаще всего пишут и говорят как о крайне тяжелой или даже просто кошмарной, начисто лишенной положительных и светлых сторон; в частности, даже праздники того времени трактуются как маршировка окончательно отупевших или насильственно согнанных на улицы и площади людей.

Понятно, я могу свидетельствовать о тогдашней жизни только по-московским и к тому же по детским и отроческим впечатлениям. Я родился 5 июля 1930 года и к 22 июня 1941 года, когда началась уже иная эпоха в истории страны, мне было почти 11 лет. Самые ранние мои воспоминания относятся к 1933–1934 годам. Помню, как моя мать с домработницей едут в популярный тогда «Серпуховской универмаг» (рядом с нынешней станцией метро) за «мануфактурой» и берут меня с собой, так как эту самую мануфактуру (и, конечно, многое другое) «давали» тогда на одного покупателя в небольших количествах, а ребенок также засчиты-

вался к качеству покупателя. Запомнившаяся очередь началась на тротуаре Садового кольца весьма далеко от конструктивистского четырехэтажного здания универмага (построен в 1928 году), а, войдя в него, медленно передвигалась вверх по его лестницам...

Помню еще, как с несколькими родственниками заходил в знаменитый теперь благодаря булгаковскому роману «Торгсин» на углу Смоленской площади и Арбата, где за остатки приобретенных до 1917 года изделий из серебра выдавались боны (странно, но я слышал это слово только в то далекое время, однако, оно осталось в памяти), в обмен на которые можно было тут же получить какие-либо остродефицитные товары.

Но речь идет о первой половине 1930-х годов: позднее дело обстояло намного лучше.

Нельзя не сказать об этом, так как «демократические» нынешние СМИ твердят совсем иное, и многие люди убеждены, что, помимо нескольких лет нэпа, страна с 1918 по 1941 год голодала. Голод или, по крайней мере, недоедание имели место в Гражданскую войну и в первую половину 1930-х, во время и некоторое время после коллективизации. Но затем уровень жизни неуклонно повышался, и созданная в Москве в 1939 году Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), где я тогда бывал, во многом не являлась «показушной», хотя и имел хождение фрондерский анекдот о том, где лучше жить быку – у нас или в Америке? Конечно,

у нас, ибо в Америке быка после хорошего откорма отправляют на бойню, а у нас – на ВСХВ!..

Крайне негативное представление о второй половине 1930-х годов основывается, естественно, и на памяти о страшном «1937-м», – вернее, 1937–1938 годах, когда обрушился вал репрессий. Я стремился раскрыть суть совершавшегося тогда в пространным исследовании «Загадка 1937 года», здесь же скажу только о том, что в 1990-х годах жертвы 1937 года, во-первых, фантастически преувеличивали (говорилось о десятках миллионов репрессированных), а во-вторых, умалчивали, что репрессии были направлены, главным образом, против членов ВКП(б). В 1937–1938 годах по политическим обвинениям были осуждены 1 344 923 человека, что составляло 0,8 % от тогдашнего населения страны.

Да, цепная реакция репрессий становилась неуправляемой и захватывала в том числе и тех, кто не был их настоящей мишенью.

В моем семейном кругу был репрессирован один человек – член партии и комкор С. В. Пузицкий, но я, признаюсь, интересовался в то время не им, а автомашиной, на которой он приезжал, ибо легковых автомобилей было тогда крайне мало, а в переулке, где я жил, они вообще не появлялись.

После ареста Сергея Васильевича в доме, вполне понятно, было беспокойство – уничтожались какие-то бумаги и, кроме того, (я это хорошо помню) извлекли из сундука шпагу В. А. Пузицкого (она полагалась чиновникам для парадных

церемоний), сломали и куда-то бросили.

Из подслушанных мной разговоров отца с матерью я знал, что арестованы директор и секретарь парткома того проектного треста, в котором мой отец был главным инженером. Ранее я видел этих людей, так как отец брал меня с собой на праздничные демонстрации и вечера в здание треста (на этих вечерах я даже «выступал» с чтением стихов. Сам отец уцелел, возможно, потому, что до 1939 года не состоял в партии...

Как и многие мальчики, я увлекался армией и на стене у моей кровати красовались портреты тогдашних маршалов. Время от времени отец снимал и уничтожал один из них. После удаления портрета Тухачевского я с дурной претензией на юмор сказал, что Тухачевский, наверное, протух, но отец сердито отмахнулся.

Наконец, еще одна врезавшаяся в память сцена. Я гулял в сквере вблизи моего дома и обратил внимание на сидевшего на скамейке человека в редкостной для того времени яркой, роскошной одежде. Когда я отошел от него шагов на тридцать, раздался какой-то звук. Я оглянулся и, всмотревшись, понял, что он застрелился: голова его запрокинулась, а рядом с его упавшей на скамейку правой рукой лежал револьвер. Вскоре откуда-то быстрыми шагами подошел милиционер, забрал револьвер и удалился – вероятно, чтобы вызвать транспорт. Едва ли можно усомниться, что самоубийца был ожидавшим ареста высокопоставленным лицом; извест-

но, что так поступало тогда немало людей, начиная с бывшего члена Политбюро М. П. Томского и начальника Политуправления Красной армии Я. Б. Гамарника.

Ныне постоянно утверждается, что во второй половине 1930-х годов в стране царил атмосфера всеобщего страха и подавленности. Как явствует из воспоминаний людей, принадлежавших так или иначе к правящему слою (прежде всего партийному), в нем это действительно имело место, но среди окружавших меня людей были только отдельные проявления тревоги и обеспокоенности. Могут возразить, что я был тогда слишком мал, однако дети, так или иначе, воспринимают настроенность взрослых.

Гораздо большую тревогу порождало все явственнее осознаваемое приближение войны. Лето 1939 года мы с матерью – в конце лета к нам присоединился и отец – провели в Крыму, сняв комнату в селении Отузы недалеко от Коктебеля, а, как известно, 1 сентября германские войска вторглись в Польшу. Началось прямо-таки паническое бегство людей, отдохавших в Крыму. С большим трудом отец добыл билеты на поезд, и нам троим досталась одна нижняя полка в общем вагоне. Ночью родители спали сидя, я же, девятилетний, клал голову на колени матери, а тело размещалось на трети полки.

Разумеется, репрессии 1937-го были поистине чудовищным явлением. Как я стремился показать в своем исследовании «Загадка 1937 года», основная причина того, что тогда произошло, заключалась в совершавшемся с середины 1930-х годов чрезвычайно существенном изменении экономического, политического и идеологического курса, которое привело к самой широкой замене руководящих кадров сверху и донизу. То же самое происходило через два десятилетия во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов, но в то время прежних руководителей, за немногими исключениями (Берия и др.) лишали их высоких постов или отравляли на пенсию, а в 1937-м – в лагеря или прямо в могилы. Это было следствием еще не иссякнувшей революционной беспощадности, в намного больших масштабах, проявившей себя в Гражданскую войну и в период коллективизации.

Многие противники той смены курса, которая свершалась с середины 1930-х, начиная с высланного из СССР Троцкого, – не без оснований, квалифицировали ее как «контрреволюцию» или «реставрацию». И, скорее, осуществленное в 1935 году восстановление дореволюционных – «царских» – воинских званий нельзя понять иначе.

Вот, казалось бы, мелочь, но, если вдуматься, многозначительная. В том же 1935 году было официально утверждено

«восстановление» рождественских (хотя они назывались теперь «новогодними») елок. Ясно помню, с каким восторгом я участвовал в наряжении елки сохранными бабушкой до-революционными украшениями – в том числе религиозного характера (правда, вернувшийся вечером с работы отец снял их с елки).

С середины 1930-х годов было осуществлено немало вполне позитивных изменений в жизни страны – начиная от положения крестьян (в частности, «реабилитации» большинства «кулаков») и кончая восстановлением доброго имени великих исторических деятелей России (особенно далекого прошлого), которых ранее, в сущности, проклинали. С восхищением смотрел я вместе с преобладающим большинством населения страны появлявшиеся одна за другой кино-эпопеи об Александре Невском, Минине и Пожарском, Петре I, Суворове...

Это вовсе не значит, что я жил главным образом прошлым; на мой взгляд, в детском и отроческом возрасте особенно привлекает будущее, новое. Так, когда рядом с моим стареньким домиком строилось огромное (по тем временам) здание Военной академии имени Фрунзе (закончено в 1937-м), я воспринимал это с острой радостью, поскольку тем самым в малый мир моего бытия как бы непосредственно вторгалось нечто, причастное будущему.

Но вообще-то я жил до войны, в сущности, в «прошлой» Москве, которая у нынешних москвичей младших поколе-

ний, если бы они перенеслись в нее, наверняка вызвала бы глубокое удивление.

Начать с того, что я, как и большинство тогдашних москвичей, жил во дворе, который имел очень мало общего с тем, что сейчас называют дворами. Четыре двухэтажных домика, составлявших мой двор, были окружены весьма высоким забором, ворота которого вечером запирали дворник Сибуров – как и многие московские дворники, татарин, – и спускалась с цепочки собака – доберман-пинчер по имени Инга, поднимавшая лай, если кто-нибудь подходил снаружи к воротам.

Двор размещался на тогдашней окраине Москвы – в Новоконюшенном переулке, проходящем между Зубовским бульваром Садового кольца и улицей Плющиха, за которой расположены Пироговские клиники. Менее чем в двух километрах от Новоконюшенного переулка – Окружная железная дорога, фактически являвшая тогда границу Москвы; за ней, в Лужниках, были только весьма обширные огороды. Кстати, маленькие огородики имелись и в моем дворе, который вообще утопал в зелени; были в нем и свои куры.

За забором находились другие – если и не враждебные, то чуждые дворы, и перелезший в них через забор мальчишка рисковал быть побитым тамошними мальчишками. Кроме того, в соседнем дворе жил большой и злой петух, который яростно налетал на пришельцев, стараясь клюнуть их в лицо, а иногда даже совершал атаку на мой двор.

Обитатели двора, в сущности, составляли как бы еди-

ную семью, подчас собиравшуюся за одним большим столом. Нельзя не упомянуть, что в силу тогдашней высокой рождаемости доля детей до 10 лет в московском населении была намного больше, чем ныне – более 20 на 100 человек. И из 70–80 человек, живших в моем дворе, было примерно полтора десятка детей, которые непрерывно затевали общие игры, уходившие корнями в далекое прошлое (например, игра «в казаки-разбойники») и нынешним детям, наверно, неизвестны.

Как уже сказано, двор запирался на ночь, но днем в него то и дело наведывались разного рода ремесленники и торговцы, каждый из которых издавал свой напевный «крик»: «Кастрюли паять! Ножи, ножницы точить! Сапоги, ботинки чинить! Старье берем!» и т. д. и т. п., притом «мелодика» этих извещений была различной, и жители двора понимали их, даже если не расслышали слова.

Старьевщики, собиравшие самые разнообразные пришедшие в негодность вещи, предлагали взамен бесхитростные игрушки, и дети старались найти в своих жилищах что-нибудь подходящее и иногда – если взрослых не было дома – притаскивали и вполне годную одежду и обувь...

Во дворе жили очень разные люди: старый большевик-инвалид Ягунов, на его окне красной краской было написано «Интернационал» и «СССР», вдова царского генерала, железнодорожный машинист, носивший почетный значок, и известный всем как вор Витька Волков, побывавший в тюрь-

ме. Тем не менее, все были свои. Большевик не обличал генеральшу, а вор крал в других дворах. И каждый готов был посылно помочь соседям. Словом, существовал определенный лад и уют общей жизни, что, без сомнения, благотворно влияло на детей. Ныне живущие в отдельных квартирах москвичи подчас почти ничего не знают даже о своих соседях по лестничной площадке. Я вовсе не имею намерения как-то идеализировать дворовой мир 1930-х годов; хотя бы тот факт, что жизнь шла на виду у всех, что не каждому было по душе – особенно людям с развитым личностным сознанием. И едва ли теперешние москвичи – в том числе и я сам! – пожелали бы вернуться в тот давний мир. Но все же была в нем своя безусловная ценность, и, помимо прочего, он имел связь с многовековой традицией российской общинности.

Дети, выраставшие в «общине» двора, легко и естественно вливались в школьный класс и, далее, в трудовой коллектив, или армейское подразделение. Известно, что безобразное явление так называемой дедовщины в армии возникло сравнительно недавно; юноши, чья жизнь начиналась в дворовой «семье», не могли творить нечто подобное.

Многие московские дворы потерпели урон в годы войны, когда из-за резкого сокращения поставки дров их заборами нередко топили печи (к 1941 году 54 % жилой площади Москвы имели печные отопления). А после войны заборы уничтожались целенаправленно властями. Как я слышал, это делалось из-за тогдашней вспышки преступности: многочис-

ленные московские заборы помогали грабителям скрыться от охотившихся на них милиционеров. Утрата оград неизбежно нарушила дворовое бытие...

Обрисованный мною феномен двора – это, конечно, только одно из проявлений своеобразия московского бытия 1930-х годов, но очень существенное. Формировавшиеся в «общине» дети получали определенный иммунитет против эгоизма, эгоцентризма, собственничества, пренебрежения к другому человеку и т. п., поскольку подобные черты встречали твердый отпор – вплоть до хотя бы временного бойкота со стороны остальных детей. Вполне ясно, что эти дворы невозможно было законсервировать; генеральный план реконструкции города Москвы, утвержденный еще в 1935 году и весьма последовательно осуществлявшийся в продолжение нескольких десятилетий, должен был уничтожить их. Но в связи с этим лишний раз приходится сказать, что «прогресс» всегда означает не только приобретения, но и потери.

И я готов спорить даже с теми, кто, обратив внимание на только что приведенную цифру – 54 % жилой площади Москвы к 1941 году имели печное отопление, – скажут о недопустимости такого положения, при котором нужно добывать дрова и тратить силы и время на возню с печью, – вместо само собой действующих водяных батарей отопления. В цивилизованной стране, тем более в ее столице, такое, мол, немислимо. Между тем и сегодня в Центральной Европе в массе домов есть камины, а в Северной – печи.

Мне довелось жить зимой в загородном доме, в котором имелись и батареи, и печь. В очень морозный день батареи не спасали от холода, я затопил печь, и с одной стороны на меня излучалось тепло от металлической батареи, а с другой – от кирпичной, то есть глиняной, земляной печи, в которой пылало дерево. И эти тепловые излучения оказались совершенно различными. Тепло от печи было как бы живым и добротным, а от батареи – каким-то искусственным и, говоря метафизически, недобрый: от него даже несколько ломило кости.

Но дело не только в этом. Ясно, – словно это было недавно, а не шестьдесят лет назад, – помню, как бабушка с моей сильной помощью вечерами топила большую печь в нашем доме, – что она делала поистине любовно. Из сарая приносились пахнущие лесом дрова, которые после некоторых усилий разгорались и с веселым треском пылали, превращаясь в угли. Мы с бабушкой внимательно следили за тем, чтобы в печи исчезли синие огоньки – показатели угарного газа, после чего можно было закрыть выюшку (заслонку) в дымоходе, дабы тепло не уходило из печи до утра.

Молодым москвичам в это, думаю, трудно поверить, но дома с печным отоплением имелись в центре Москвы еще в 1960-е годы. И, кстати сказать, до 1962 года на месте двадцатидвухэтажного дома, в котором помещается известный «Новоарбатский гастроном», был большой склад-магазин распространявший вокруг себя дровяной запах.

Я уже говорил об утратах, к коим ведет «прогресс». Живой огонь, природная стихия, обитавшая прямо в доме, воспринималась как нечто таинственное и чудесное, вызывая своего рода «религиозное» переживание.

Отмечу, что, хотя и был при рождении по воле двух моих бабушек окрещен, непосредственного отношения к религии и церкви я не имел. Одна из бабушек привела меня еще в раннем детстве в храм, и я смутно помню впечатляющее действо литургии, однако отец, узнав про это посещение (вероятно, я сам рассказал о нем) настрого запретил приобщать меня к церкви.

Но врзалось в память одно видение. Зимним вечером я шел с домработницей Нюрой, которая играла также роль няни, по переулку недалеко от дома среди белых стен из снега, который тогда увозили только с центральных улиц – в переулках же дворники в течение зимы возводили вдоль тротуаров высоченные снежные стены, благодаря малочисленности автотранспорта. И вот в обрамлении этих светящихся даже в вечерних сумерках стен предстал также белый еще сохранившийся (действующий) храм, над входом в который – загадочный лик Богоматери, освящаемый лампадой. Это было очень сильным и глубоким впечатлением, своего рода неоспоримым свидетельством существования иного мира...

И еще одно – многократно повторявшееся – соприкосновение с тайной. Рядом с моим домом – сквер с поэтическим названием Девичье поле. Фонари на нем были тогда очень

редкие и тусклые, и в морозные вечера со всей силой свети-лось звездное небо. Я ложился спиной на санки, подолгу гля-дел ввысь, и это завораживало. Разумеется, я не знал тогда кантовское изречение о звездном небе над нами и нравствен-ном законе внутри нас, но, как мне кажется, нечто близкое к сему чувствовал.

Вместе с тем такого рода переживания без каких-либо противоречий сочетались с увлеченным восприятием то-гдашней чисто советской жизни – прославляемыми подвига-ми летчиков, уже упомянутой ВСХВ, праздничными демон-страциями, на которые отец брал меня с собой с ранних лет.

В последние годы телевидение нередко показывает ки-нокадры, запечатлевшие физкультурные парады, которые предвзяли проход демонстраций на Красной площади; оди-наково экипированных и однообразно жестикулирующих спортсменов явно предлагается воспринимать как бессмыс-ленных и бесчувственных роботов. В физкультурных пара-дах я не участвовал, но что касается демонстраций, в них и в 1930-х годах, и позднее не было ни следа какой-либо закре-пощенности и роботизации. Люди, иные из которых, кстати, выпивали стопку-другую у расположившихся вдоль пути де-монстрации лотков, были неподдельно веселы, почти непре-рывно пели, танцевали и плясали под музыку множества ор-кестров, баянов и гармошек. И даже перед Мавзолеем в ше-ствии на Красной площади не было никакой тупой парадно-сти, никакого раболепия.

Во второй половине праздничных дней толпа людей заполняла упомянутое Девичье поле, где накануне сооружались всяческие аттракционы, шла бойкая торговля едой и напитками и на помосте, сидя на лавках, часами залиvistо пели запомнившиеся мне пестро одетые женщины, которых почему-то называли «бабами рязанскими».

Огромную действенную роль играл тогда кинематограф, — так, фильм «Чапаев» породил популярную среди детей игру «в Чапая», а после появления «Александра Невского» на широком асфальтированном (остальные улицы и переулки возле моего дома были булыжными) проезде перед Академией имени Фрунзе сотни мальчишек постарше меня (мне тогда было восемь лет) с деревянными мечами, щитами и чем-то вроде шлемов, разделившись на два войска, подолгу разыгрывали сражение. Вся Москва знала историю мальчишка, в качестве шлема надевшего на голову тесный чугунный горшок, снимать который пришлось в больнице...

* * *

Хотя я увлекался многим «советским», нельзя сказать, что был вполне по-советски настроен, и, в частности, не стал ни «октябренок», ни пионером, а в комсомол вступил только в двадцать лет, в университете. Правда я, как и преобладающее большинство мальчишек, был страстным поклонником Красной армии и горячо воспринимал бои на озере Ха-

сан, участие «добровольцев» из СССР в гражданской войне в Испании, битву у Халхин-Гола и Финскую войну, в которой участвовал (в качестве простого красноармейца) младший брат моего отца, родившийся в 1916 году – Федор, или, как он называл себя на английский манер, Тэд. Это был мой самый любимый родственник, и мы с ним активно переписывались, пока он был на фронте.

Недостаточная моя «советскость» была обусловлена тем, что я с ранних лет – о чем шла речь выше – ценил такие явления из «прошлого», которые не вписывались в новый строй бытия и сознания. Позднее, к 14–15 годам, я уже хорошо понимал, что дело обстоит именно так: «прошлое» во многом ближе и дороже мне, чем советское «настоящее». Кроме того, сказалось определенное влияние воззрений моего отца, хотя это было не столь уж заметное, подспудное влияние.

Отец мой, Валериан Федорович (1903–1975), в 1926 году окончил Московское высшее техническое училище и к середине 1930-х годов стал высококвалифицированным специалистом в области водоснабжения, занимавшимся также перед войной и во время войны транспортировкой нефти.

Он участвовал в строительстве водопровода в Магнитогорске и Сталино (Донецке), в 1935 году был на несколько месяцев отправлен в командировку в США для изучения тамошних технических достижений, издал ряд книг и т. д.

Выше говорилось, что мой дед, военный фельдшер Федор Яковлевич, был чистым профессионалом, стоящим далеко

от политики, и его сын как бы унаследовал эту черту отца. Правда, после занятия более или менее высокого поста Валериан Федорович вступил в партию (в 1939 году), но, так сказать, вынужденно, а не по собственному желанию.

В целом он весьма критически относился к советской реальности и впоследствии, когда я уже был взрослым человеком, признался, что в стране имеет место не тот социализм, который преподносила пропаганда, а *госкапитализм*. Но в годы моего отрочества и юности он на те или иные мои вопросы, связанные с политикой, давал вполне «официальные» ответы, и, о чем уже говорилось, запретил водить меня в церковь, а также отверг елочные украшения религиозного характера.

Вместе с тем я – пусть не очень осознанно – чувствовал, что отец не являет собой убежденного коммуниста. Еще более далеки были от этого его сестра – врач Зинаида Федоровна и уже упоминавшийся брат, с которым я часто общался. Отец нередко выражал глубокое удовлетворение в связи с теми или иными научно-техническими достижениями СССР (в коих он и сам участвовал как инженер), но характерно, например, что он не побуждал меня вступить в пионеры, и позже – в комсомол.

Правда в начале 1950-х годов я стал весьма фанатичным комсомольцем, но, как я теперь понимаю, была определенная, заложенная с отроческих лет духовная основа, которая помогла довольно быстро преодолеть овладевшую мною в 19

лет настроенность.

Стоит еще сказать, что мой отец с юных лет сочинял стихи, и в них не было «политики». Они носили чисто лирический характер, и в 1930—1940-х годах едва ли могли быть опубликованы, если бы даже отец к этому стремился; но он, очевидно, понимал, что его стихи не годились для печати в то чрезмерно политизированное время.

Началась война, а с 22 июля 1941 года – интенсивные бомбардировки Москвы вражеской авиацией. В первое время, пока не была налажена противовоздушная оборона, город претерпел очень значительный ущерб, о котором сейчас мало кто имеет представление. Множество жилых и производственных зданий были разрушены мощными фугасными бомбами, а «зажигалки», как их все называли, вызвали массу пожаров. Навсегда осталось в памяти: перед рассветом я с родителями и младшим братом (родившимся в 1939 году) выхожу из надежного бомбоубежища в подвале двенадцатиэтажного дома, а на соседнем, строящемся здании деревянные леса полыхают столь ярко, что светло как в разгар дня.

Отец мой к началу войны был еще молодым, 38-летним^[8], но как специалист, занимавшийся нефтью, получил бронь, а ранней осенью вместе с группой сослуживцев был отправлен в Туркмению. Это, надо признать, было весьма дальновидным решением власти: враг за два с небольшим месяца, к концу августа, прошел полпути к Кавказу и угрожал вскоре прервать доставку нефти и из грозненского, и из ба-

кинского месторождений. Отправленные из Москвы специалисты должны были решить проблему доставки бакинской нефти через Каспийское море и далее, для чего предполагалось строить нефтепровод, а также увеличить добычу нефти на туркменских месторождениях.

Поезд, в котором мы выехали из Москвы на восток, вскоре подвергся бомбардировке и пулеметному обстрелу с воздуха, но, по-видимому, уже имевший опыт машинист то тормозил, то резко трогал с места, и попаданий в поезд не было. Позднее поезд почему-то долго стоял на берегу Волги около Сызрани. Я из тамбура с волнением глядел на великую реку. Находившийся рядом солдат сбегал к ней, набрал в каску воды, отпил глоток и по моей просьбе дал отпить и мне. В этом глотке из Волги чувствовалось нечто священное и нераздельно связанное с великой войной.

Поселились мы в Ашхабаде, но мой отец почти все время был в других местах – на нефтяных объектах, а после перелома в Сталинградском сражении, когда прямая опасность захвата Кавказа отпала, отца возвратили в Москву, где ему предстояло добиться разрешения и на возвращение семьи. Но враг еще находился слишком близко от столицы – под Ржевом, и только после его отступления в начале марта 1943 года, нам было разрешено вернуться.

За год до того в Ашхабаде стало очень голодно – в частности потому, что тамошние климатические условия неблагоприятны для картофеля, который спасал людей в Москве.

Когда мы возвращались в начале апреля 1943 года в Москву, я перенес то тяжелое недомогание, которое постигло многих людей, вырвавшихся из блокадного Ленинграда.

Дело в том, что перед отъездом кто-то надоумил мою мать купить для обмена на продукты в дороге стекла для керосиновой лампы, которые имелись в ашхабадских магазинах. И действительно, на некоторых станциях за такое стекло отдавали, например, две жареные курицы. Отвыкший за год от подобной пищи, я съедал ее буквально с костями, и в результате ко дню приезда в Москву еле-еле передвигал ноги...^[9]

III

«Я был связан за свою жизнь с многими тысячами людей...»

Когда я пришел в университет, там была такая атмосфера, я бы сказал – левее Сталина, и к тому же, что особенно поражало, среди студентов, хотя многие думают иначе, были и такие, чьих отцов репрессировали как «врагов народа»: например, Станислав Лесневский или Георгий Гачев, который тем не менее был комсомольским секретарем нашего курса. Причем там была большая организация, почти райкомовского уровня – 300 комсомольцев. И он был очень ярким таким секретарем, проводил разные персональные дела – несмотря на то, что его отец сидел в лагере... Да, в МГУ был человек высочайшего уровня, Сергей Михайлович Бонди. Хотя считается, что в те времена господствовала казенщина, на самом деле все было далеко не так. Бонди никто не запрещал, никто ему не мешал читать эти лекции. А он позволял себе чрезвычайно рискованные вещи. Например, я вспоминаю такую его фразу: «Товарищи! (Он говорил: товарищи) Мы не можем ни улучшать, ни ухудшать историю. Товарищ Сталин запретил нам это делать!» Или, например, еще характерная для него фраза: «Товарищи! Если какой-нибудь формалист говорит, что дважды два – четыре, это не значит, что он не

прав». Бонди был фигурой легендарной, он входил в круг Блока, бывал часто у него дома. И хотя он не считал удобным афишировать свои близкие отношения с этим великим поэтом, но иногда упоминал, что, вот, Блок при мне говорил то-то и то-то. Кстати, есть у меня толстая тетрадь, где записаны его лекции, которую я до сих пор с удовольствием просматриваю. Этот человек действительно многое дал мне. Вот, например, его суждение: «В чем задача филолога? Он должен положить руку читателя на пульс произведения». Бонди это делал виртуозно. Правда, однажды его отстранили от чтения лекций, но к идеологии это никакого отношения не имело. Бонди читал самый, пожалуй, ответственный курс – историю русской литературы XIX века. Курс был рассчитан на три семестра. Так вот, представьте, что к концу второго семестра он еще не покончил с Пушкиным, в творчество которого был абсолютно погружен. Курс поручили кому-то другому, и этот преподаватель был вынужден за один семестр прочитать все остальное. Могу сказать, что я выбрал себе в учителя Бонди. [...]

Я активно печатался в университетской многотиражке, еще в каких-то мелких изданиях, а в 1952 году, на третьем курсе, вышла моя первая публикация в «Литературной газете». И темой этой публикации был, представьте себе, Маяковский, поскольку я в университете проникся какими-то, скажем, еврокоммунистическими настроениями. И я, который до того поэзию Маяковского совершенно не восприни-

мал в силу своей аполитичности, начал активно им заниматься и пришел на семинар к Дувакину, очень живому человеку, прекрасно знавшему поэзию, но имевшему на нее весьма своеобразный взгляд. Он считал Маяковского центром, вокруг которого вертятся все остальные поэты, но это другой вопрос. И там, на семинаре Дувакина, я познакомился с Андреем Синявским, который тогда уже учился в аспирантуре, поскольку был старше меня на пять лет. Да, в последних своих интервью Синявский не раз обращался к этому периоду, но в такой забавной интонации: дескать, Кожин тогда пришел ко мне звать на какое-то антигосударственное собрание, корил за мой отказ, называл трусом, а в конце концов посадили в лагерь меня, а не Кожинова. Но в то время он часто заходил ко мне в гости, причем, как правило, с женой, с собакой, которую назвал Иосифом в честь Сталина, и с двумя бутылками водки. И когда они на пару с супругой выпивали грамм двести, то начинали петь за столом разные песни, в том числе и такую: «Абрашка Терц, карманник всем известный...» У меня даже были магнитофонные записи их пения. Так что когда на Западе появились «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца, мне сразу стало ясно, кто автор.

Когда я заканчивал университет, разгорелся большой скандал, связанный с нашим преподавателем Белкиным, которого начали выгонять. Тогда я организовал адрес в его честь, а затем мы с другими студентами даже пошли в партбюро, чтобы его защитить. В итоге вместо аспирантуры, ку-

да меня рекомендовали, я получил распределение в железнодорожную школу в Амурскую область. И это при том, что у меня уже было несколько серьезных публикаций, готовилась большая статья в «Вестнике МГУ». Но в Амурскую область я не поехал. Я сдал экзамены в аспирантуру Института мировой литературы. Туда был конкурс десять человек на место, и я прошел, всего на один балл опередив Андрея Варганова, ныне известного телеобозревателя. Так что это было значительным достижением для меня, поскольку освобождало от распределения. Если бы не это, неизвестно, как бы сказались на мне годы, проведенные в Амурской области. Может, спился бы или что-то в этом роде...

Я уже с середины 50-х был знаком со многими писателями, поэтами прежде всего, находился с ними в постоянном общении. В частности, с такими мастерами, как Борис Слуцкий и Александр Межиров. Я до сих пор считаю их значительными поэтами, творчество которых стало, может быть, не крупным, но неотъемлемым звеном в развитии нашей литературы. И та группа молодых поэтов, с которыми я сблизился чуть позже: Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Соколов, Николай Рубцов, еще целый ряд авторов – они многому учились у Слуцкого и Межирова. Может быть, сегодня кто-то удивится: как же так, а национальная проблема? Но в те годы ее просто не существовало, а кроме того, русских поэтов такого уровня в том, фронтовом, поко-

лении тогда не было. Наровчатов, Луконин выступали явно слабее. Прекрасный поэт Сухов жил в Сталинграде и был малоизвестен. А эти люди в то время были у всех на устах. Но Межиров все-таки был больше сосредоточен на себе, а Слуцкий очень активно опекал этих поэтов – вплоть до того, что материально помогал.

И потом это направление не слишком удачно окрестили «тихой лирикой». Во всяком случае, у Рубцова ничего тихого нет, он свои стихи всегда читал на пределе, иногда выкрикивал даже. И к концу 60-х годов это направление стало стержневым в поэзии, так что Евтушенко даже пожаловался: вот, мол, тихая лирика совсем заглушила громкую. А ведь начиналось всё с нескольких людей, которые собирались за одним столом, в том числе за моим, – больше ничего и не было. Но потом, после гибели Рубцова, все стало как-то распадаться...

Еще в 1961 году я выступил на дискуссии в журнале «Вопросы литературы», где сказал, что совершенно ложно представление о Евтушенко и Вознесенском как о каких-то оппозиционных поэтах. Это официальные поэты хрущевского режима. Напечатали мои слова в сильно смягченной форме, но они прошли. Помню, меня еще спросили с места, кто же тогда Грибачев. Я ответил, что, конечно, оппозиционер. Пусть справа, но оппозиционер.

Довольно давно один из моих академических друзей вспоминал времена, когда за одним столом собирались самые

разные люди: он называет Передреева и Битова, Алешковско-го и Рубцова. Но это был стол, о чем он не упомянул, ко-торый стоял в моем доме. И, занимаясь академическим ли-тературоведением, я связывал действительно очень многих писателей и не только писателей. С Алешковским, кстати, я еще учился в одной школе. Его, правда, выгнали оттуда в 1943 году за хулиганство – он ударил железным прутом по нижней части учительницу математики, которая поставила ему двойку. Времена тогда были суровые, и, можно сказать, Юзик еще легко отделался.

Этих людей объединяло, скорее, все-таки негативное на-чало. Получалось так, что в неприятии существующего боль-ших различий еще не было. Они начали намечаться позд-нее, и именно в плане того, за что мы боремся. Тут, где-то с середины 60-х годов, когда я уже начал писать о современ-ной литературе, начался раскол. И самой выразительной бы-ла история с журналом «Молодая гвардия», который вдруг стал таким вот патриотическим и даже монархическим жур-налом. На него накинудись все, и «Октябрь» даже раньше, чем «Новый мир». Появилась некая «третья сила», которая стремилась ликвидировать разрыв между дореволюционной Россией и Россией послереволюционной, что раньше было не то что невозможно, а попросту немислимо. В частности, был такой подпольный публицист Шиманов, который прямо написал, что нам нужно слить монархизм и коммунизм во-едино – тогда мы будем спасены. Такое было возможно после

войны и не реализовалось потому, что мы распространились на весь мир и не могли вести сугубо национальную политику. «Мы родом из Октября», «Мы – дети XX съезда» – это были ведь не пустые декларации, а реальное мироощущение того времени. А я глубоко убежден, что высшим достижением нашей культуры была не литература, а русская религиозная философия и русское православие.

Для меня определяющим толчком стало знакомство с Бахтиным. Это была такая судьбоносная встреча, которая чрезвычайно много мне дала, и я увидел свою задачу в том, чтобы Бахтин стал всеобщим достоянием, чтобы он вошел в духовную культуру страны. И подобных случаев было много – я беру только самый крупный из них. Как я впоследствии понял, мне просто хотелось создать вокруг себя культурную среду наивысшего из возможных тогда уровней: мыслители, философы, писатели, поэты. С огромным удовлетворением общался с этими людьми и стремился в тех условиях, хотя первоначально мои возможности были не слишком большими, как-то их представить, сделать все, чтобы они получили признание. И когда говорят о «кожиновской школе», возможно, имеют в виду тот факт, что несколько десятков, может быть, до сотни в той или иной мере одаренных и перспективных людей я стремился при каждом удобном случае, и письменно, и устно, как-то утвердить, выдвинуть. И этому способствовало такое счастливое свойство моей природы – я думаю, очень счастливое свойство: когда я встречаюсь с

чем-то ярким, одаренным, талантливым, то у меня нет такого ощущения, что вот я, а вот он, этот человек. У меня такое впечатление, что это тоже я. Понимаете, то есть я умею радоваться успехам других людей. Очень часто даже больше, чем своим собственным. Это не достоинство и не недостаток – это такое своеобразие характера.

* * *

Я был связан за свою жизнь с многими тысячами людей, и не в виде заочного или очного знакомства, а что-то вместе с ними предпринимал, что-то реальное делал. Одно время, например, я интересовался кинематографом и написал несколько статей о киноискусстве. Затем перестал интересоваться этим делом, просто запрещал себе о нем писать. Был интерес к живописи, особенно когда появилась так называемая «подпольная» живопись, я узнал всех этих художников. Был тогда такой известный подпольный живописец Оскар Рабин, который потом эмигрировал, – первая его выставка прошла в моей квартире. Но и этот интерес я в себе зачеркнул. Позже меня по старой памяти приглашали на то или иное художественное мероприятие, но я чаще всего отказывался. А что касается литературы в самом широком плане, истории, философии – я постоянно этим всем занимался. Тем более что философия для серьезного понимания и литературы, и истории просто необходима. Я уже говорил,

что совсем еще мальчишкой написал свою «Историю Москвы», но затем пошел все-таки не на исторический факультет, а на филологический. Кстати, и Игорь Ростиславович Шафаревич в одном из своих интервью как-то обмолвился, что когда он был совсем молодым человеком, то хотел заниматься вовсе не математикой, а историей, но смутно сознавал, что историей серьезно в то время заниматься нельзя, а потому и пошел в математику. Я не могу сказать, что осознавал нечто подобное, но вполне возможно, что выбор совершился бессознательно, и я занялся не историей, а литературой. Но впоследствии, когда я стал просматривать все, что было мною написано о литературе, то всюду обнаружил явный интерес к истории. То есть этот фундамент, эта основа присутствовала у меня всегда. Я всегда стремился очень четко связать со временем все литературные произведения, о которых писал: шла ли речь о древних писателях, о литературе XIX века или даже о современной – я всегда стремился обосновать движение литературы движением истории. Я всегда считал, что не литература отражает историю, а история порождает литературу как свой высший и самый ценный плод. В конце концов, я очень люблю это высказывание Достоевского, что когда последнего человека призовут на последний, Страшный Суд и спросят, зачем он жил на Земле и в чем видит смысл своей жизни, то человек вместо ответа может молча подать «Дон Кихота» Сервантеса. Наша культура и есть вот этот ответ человечества, обращенный в вечность. Кстати, Бахтин в

центре своей книги о Достоевском написал, что в этом мире ничего не кончено и никогда не будет кончено. Но тем более, если это так, необходимо оставлять за собой такие бескорыстные и объективные свидетельства. Это и есть культура. Потому что все остальное, по большому счету, не представляет никакого интереса. Хотя художник может получать деньги за картину, в его искусстве существует элемент бескорыстия, самоотдачи. Огромное количество людей пишут стихи, по-моему, в убеждении, что раз в их стихах запечатлена их индивидуальная жизнь, то она остается навечно, в той материи, которая непременно сохранится, – а слово переживает века и тысячелетия.

У большинства нашей интеллигенции сформировалось представление, что на Западе все неизмеримо выше. Я впервые столкнулся с этим, когда сказал одному из заместителей директора ИМЛ, весьма патриотично настроенному, кстати, о том, что необходимо издать книгу Бахтина о Достоевском, тот только рукой махнул: «Что вы! Там, на Западе, написали о Достоевском гораздо глубже и интереснее, чем ваш Бахтин». Дело было в 1961 году, мы космос штурмовали... А директор нашего института Б. Л. Сучков, человек совершенно прозападный, вызвал как-то нас с Палиевским и между делом спросил: «Что вы все возитесь с Россией? Это ведь Чухлома. Есть только один Солженицын, да и тот накануне высылки».

А сейчас очень многие патриотически настроенные люди,

даже образованные, питают иллюзию, будто можно выбросить из нашей истории последние восемьдесят с лишним лет и восстановить жизнь наших предков. Они поступают точно так же, как поступали революционеры в семнадцатом году: сбросить историю с парохода современности – и точка. Я осознал это очень рано и всегда находил людей, которые стремились к полному соединению нашей истории. А крикливый, поверхностный патриотизм всегда вызывал во мне какое-то недоверие. Мне всегда хотелось, чтобы существовал пласт людей, в которых проявлена вся наша тысячелетняя Россия, а не какие-то кусочки ее истории. И это были люди абсолютно разные: с одной стороны, Михаил Михайлович Бахтин, который родился еще в 1895 году, человек высочайшего философского уровня, еще 15-летним мальчиком прочитавший Кьеркегора, – а с другой стороны, детдомовец Николай Рубцов, который в 1963 году написал: «Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, Но жаль мне, но жаль мне поруганных белых церквей...» И как только я видел в человеке огонь, связанный с тысячелетней нашей культурой, то старался быть рядом с этим человеком. Патриотизм имеет смысл только тогда, когда он творческий, когда он может что-то противопоставить и доказать патриотизму других народов. Тем же я пытался заниматься в своих сочинениях о прошлом, представить историю России в ее целом, объективном смысле. Вообще изучению истории я отдал гораздо больше сил и времени, чем литературоведению.

нию. Меня все время интересовала именно история в зеркале литературы и языка. А собственно литературоведение не вызывало во мне такого внутреннего интереса, хотя давалось достаточно легко. И когда я поделился своими сомнениями с Бахтиным, Михаил Михайлович ответил мне, что ничего странного тут нет, что литературоведение – слишком междумочная область, чтобы ей заниматься всерьез, нужно быть или писателем, или философом.

* * *

Оспарю само определение «кожиновская школа». Я никогда не настаивал на каком-то своем первенстве, лидерстве; комплекса власти, в том числе даже власти духовной, по моему, просто лишен и с любыми людьми всегда стремился быть на равных.

Поэтический кружок, в который в 1962 году вошел Николай Рубцов, в первые годы своего существования представлял собой именно кружок, а не литературное явление в полном смысле этого слова. Он не имел авторитета в каком-либо журнале, альманахе, издательстве; у него не было даже хотя бы «своего» литературного критика...

Главное заключалось в единой творческой программе участников кружка – твердой, бескомпромиссной и в то же время лишенной какого-либо догматизма и сектантства. Ими всецело владела идея русской Поэзии, притом вовсе не

в эстетически замкнутом, книжном смысле, но Поэзии, воплощающей жизнь человека и народа во всей ее глубинной сути.

Творения Пушкина и Тютчева, Лермонтова и Некрасова, Фета и Полонского, Блока и Есенина были для Николая Рубцова и его собратьев не «литературными фактами», но именно глубочайшими воплощениями духовной жизни русского народа и русского человека, а значит, прообразами их собственной духовной жизни. Они никак не отделяли поэзию от жизни в ее сущностной основе, и потому были свободны от какой-либо литературщины.

С другой стороны, именно это глубокое проникновение в классическую поэзию и подлинное овладение ею – освоение ее (то есть, превращение ее в действительно свое состояние) – и делало Николая Рубцова и его собратьев настоящими людьми культуры, а не поверхностными ее потребителями, способными лишь щеголять «информированностью».

Автор этих воспоминаний с самого начала был тесно связан с поэтами, составившими кружок, но в те годы занимался почти исключительно теоретическими проблемами литературы; современная поэзия была для него еще только чисто душевной, а не «профессиональной» заботой.

Между тем к осени 1963 года сложилась довольно драматическая ситуация. Поэты кружка уже могли «предъявить миру» целый ряд превосходных – ныне, кстати сказать, всем известных – стихотворений, однако даже лучшие их стихи

жили, по сути дела, только «внутри» кружка. Я был убежден, что стихи эти не только представляют собой наиболее значительные явления современной молодой поэзии, но что выразившимся в них творческим устремлениям безусловно принадлежит будущее. И при всей своей погруженности в литературу прошлых эпох я так или иначе сознавал, что безвнятного для всех современного продолжения подлинного творчества в какой-то мере теряет смысл и великая поэтическая культура прошлого...

На одной из встреч зашел разговор о затруднениях с печатанием стихов, прежде всего о вполне готовой к изданию, но, как говорится, лежащей без движения первой книге Анатолия Передреева. Чуть ли не впервые услышал я тогда из уст друзей горькие слова о трудности пути в литературу и стал искать какой-либо выхода.

Перебрав в памяти людей, которые могли бы помочь делу, я остановился на имени Дмитрия Старикова. Лет за десять до того мы вместе закончили Московский университет, а в описываемое время он был одним из наиболее активных и влиятельных критиков. К тому же и жил он по соседству, и я немедленно отправился к нему, вооруженный стихами и гитарой.

По-студенчески резко я сказал ему о том, что вот, мол, он столь активно пишет о современной литературе и прежде всего о поэзии, но даже не имеет представления о творчестве наиболее значительных и наиболее обещающих молодых по-

этов. Затем, не дожидаясь возражений, я стал читать Дмитрию неведомые ему стихи, а кое-что и напел под гитару. И этого оказалось достаточно...

Вскоре Дмитрий Стариков был назначен заместителем главного редактора журнала «Октябрь». И за недолгие годы его работы на этом посту журнал щедро публиковал лучшие стихи Николая Рубцова, Владимира Соколова, Станислава Куняева.

Именно здесь были обнародованы в 1964–1965 годах такие ключевые стихотворения Николая Рубцова, как «Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...», «Тихая моя родина...», «Звезда полей», «Русский огонек», «Взбегу на холм и упаду в траву...», «Памяти матери», «Мне лошадь встретилась в кустах...», «Добрый Филя» и т. п. На основе публикаций в «Октябре» Николай Рубцов смог издать в Архангельске свою первую книжечку «Лирика», и вообще именно эти публикации по-настоящему ввели его в литературу^[10].

Важно отметить, что отношение Дмитрия Старикова к творчеству Николая Рубцова и его друзей разделяли в редакции «Октября» далеко не все. И кто знает, как сложилась бы судьба Николая Рубцова, если бы его лучшие стихи не были бы так сравнительно быстро введены в литературу? Напомню, что в том самом 1964 году Николай Рубцов был исключен из Литературного института и должен был покинуть Москву и поселиться в своем затерянном среди лесов и

болот Никольском. Конечно, невозможно представить себе, что Николай Рубцов отказался бы от поэзии. И все же – создал ли бы он все то, что мы теперь знаем?..

В самом конце 1964 года Николай Рубцов приехал в Москву хлопотать о восстановлении его в Литературном институте (15 января 1965 года он был восстановлен, но, увы, только на заочном отделении). Однако все эти неурядицы были чем-то не таким уж существенным – они походили на то, что произошло у нас со встречей Нового, 1965 года.

Было решено встречать этот год в доме моих родителей, где Николай Рубцов еще не бывал. Случилось так, что я запоздал и Николай явился раньше меня. Был он одет, как бы это сказать, по-дорожному, что ли, и на моего отца, который встречал гостей, произвел очень неблагоприятное впечатление. Отец мой вообще был человеком совершенно иного, чем мои друзья, склада...

Мы с Передреевым приехали около двенадцати и застали Николая на улице у подъезда. Меня страшно возмутило нарушение обычая, который я считаю священным: к новому столу приглашается любой нежданно появившийся гость. Я вбежал в квартиру, чтобы поздравить с Новым годом мать, и вернулся на улицу.

Что было делать? У нас имелись с собой вино и какая-то снедь; но все же встреча Нового года на улице представлялась крайне неудобной. Оставалось минут десять до полуночи. Широкая Новослободская улица была совсем пуста – ни

людей, ни машин.

И вдруг мы увидели одинокую машину, идущую в сторону Савеловского вокзала, за которым не так уж далеко находится общежитие Литературного института. Мы бросились наперерез ей. Полный непобедимого молодого обаяния Анатолий Передреев сумел уговорить водителя, и тот на предельной скорости домчал нас до «общаги». Мы сели за стол в момент, когда радио уже включило Красную площадь. Почти не помню подробностей этой новогодней ночи – разве только всегда восторженную улыбку замечательного абхазского поэта Мушни Ласуриа, улыбку, с которой он угощал нас знаменитой мамалыгой. Но эта ночь была – тут память нисколько мне не изменяет – одной из самых радостных новогодних ночей для всех нас. Нами владело ощущение неизбежного нашего торжества, преодолевающего самые неблагоприятные и горестные обстоятельства. Под утро мы с Анатолием Передреевым даже спустились к общежитскому автомату и позвонили моему отцу, чтобы как-то «отомстить» ему этим нашим торжеством. У него уже было совсем иное настроение, он извинялся, упрашивал, чтобы все мы немедленно приехали к нему и т. д.

– Ты даже представить себе не можешь, кого ты не пустил на свой порог, – отвечал я. – Все равно, что Есенина не пустил...

И это тогда, 1 января 1965 года, уже было полной правдой.

Я убежден, что любовь к искусству (если она, конечно, истинная) – самая или даже единственно прочная (ибо она коренится в самой глубине духа) основа независимости или, выражаясь иначе, *свободы* критика. Собственно, даже и не свободы, которая есть сопротивление каким-либо *внешним* ограничениям, а воли, *вольности* как всецело внутренней устремленности, вообще не обращающей внимания на внешние препятствия.

В 1985 году, на рубеже «перестройки», один критик, специализирующийся в основном на «критике критиков», дал мне как критику явно не очень хорошо продуманную им оценку: «Воля, по Далю, есть «данный человеку произвол действия; свобода, простор в поступках», и Кожин в самом деле гораздо свободнее, чем кто-либо из его коллег»^[11] (именно так: *гораздо... чем кто-либо*).

При вчитывании в это суждение может сбить с толку процитированное из Даля слово «произвол», которое имеет сегодня явно негативный смысл. Но во времена Даля этот смысл был как раз на втором плане; Даль определял данное слово прежде всего так: «*Произвол*, своя воля, добрая воля, свобода выбора и действия, хотенье, отсутствие принуждения».

И поскольку речь шла о моей деятельности до 1985 года,

едва ли можно было бы дать ей более *лестную* оценку (хотя критик, конечно, не ставил перед собой такую цель). Если судить по моим опубликованным в 1950–1984 годах работам, оценка эта, разумеется, преувеличенная. Свобода моя постоянно стеснялась и редакторами, и цензорами и, в конце концов, «внутренним редактором». Так, например, когда я в начале 1960-х годов пожелал сказать в печати о том, что Александр Солженицын – крупнейший писатель и творец новой эпохи русской классической прозы, я смог опубликовать только такое несколько витиеватое рассуждение: «В современных поисках в сфере художественной речи прозы наметились две разные устремленности: с одной стороны, попытки создания ярко выраженного «современного стиля», напоминающие тенденции прозы начала 1920-х годов, с другой – стремление возвратиться к «истокам», буквально воспроизвести стиль Чехова и Бунина. Эти устремления не могут привести к победе, к созданию *новой классической прозы*. Единственный путь – это упорное, неимоверно трудное и в то же время по- своему «наивное», «естественное» овладение реальными формами самой жизни, «перевод» этих форм в формы прозаической речи, как бы не опирающейся (во всяком случае, внешне, очевидно) ни на плотный грунт вековой традиции, ни на зыбкое марево «современного стиля.» На этом пути развивается художественная речь прозы Солженицына».

Свободу, независимость или *вольность* – предпочитаю

это слово, обозначающее «зависимость» только от своей собственной любви к творениям поэта или писателя, – я вижу, в частности, в том, что 20–30 лет назад первым или одним из самых первых говорил о *выдающемся* значении только что изданных или даже еще только готовившихся тогда к изданию книг М. Бахтина, В. Шукшина, Н. Рубцова, А. Прасолова, В. Белова, Н. Тряпкина, А. Межирова, В. Соколова, А. Битова, В. Казанцева, Ю. Кузнецова и других. Это можно увидеть из моей книги «Статьи о современной литературе» (М., 1982) и ее дополненного переиздания 1990 года, где собраны статьи начиная с 1960-х годов. Из этой же книги можно уяснить, что меня гораздо меньше увлекала задача писать что-либо о сочинениях, не породивших во мне любви; я изредка критически отзывался лишь о тех авторах, которые были слишком уж чрезмерно *превознесены* другими критиками (К. Симонов, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Ю. Трифонов, А. Тарковский, Ю. Мориц – вот, пожалуй, и весь перечень специально «раскритикованных» мною).

* * *

Одним из центров возрождения патриотических идей явилось восстановленное в 1966 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК); все общества этого рода были закрыты и даже репрессированы на рубеже 1920—1930-х годов. В 1964 году в здании Ис-

торического музея собрался десяток молодых людей, часть из которых стала духовным ядром учрежденного спустя два года общества. И среди собравшихся был всего только один представитель старшего поколения, прошедший в ГУЛАГе около тридцати лет, Олег Васильевич Волков, который – ясно это помню – сказал тогда не без тревоги: «А не окажемся ли мы все, господа, на Соловках?»

Важно знать как и почему удалось официально утвердить это общество. В 1965 году возникли конфликты на советско-китайской границе, и поначалу имели место отказы противостоять нарушителям: ведь они, мол, такие же коммунисты, как мы. В этих обстоятельствах Главное политическое управление Советской армии поддержало идею создания ВООПИК.

И с 1966 года в кельях Высокопетровского монастыря еженедельно собирались несколько десятков молодых ренителёв (из старшего поколения там опять-таки никого не было, кроме О. В. Волкова и еще исторического романиста В. Д. Иванова). Собрания эти получили негласное название «Русский клуб». «Русский клуб», помимо прочего, устраивал достаточно действенные конференции во многих городах – Новгороде, Смоленске, Суздале, Белгороде и др., а целый ряд его участников энергично выступали в печати.

Эти выступления имели немалое значение. Возьмем хотя бы мемуарную статью Владимира Николаевича Осипова в «Нашем современнике»^[12], где он говорит, что «во вто-

рой половине 60-х годов... на опустошенной русской почве нежданно-негаданно взметнулась плеяда Белинских, причем Белинских лишь в смысле таланта и темперамента. Кожин, Лобанов, Семанов, Чалмаев, Палиевский, О. Михайлов, Д. Жуков...». Почти все перечисленные Осиповым люди вступили на патриотический путь именно на почве «Русского клуба».

Л. И. Бородин сказал на встрече в редакции журнала «Москва», обращаясь к участникам «Русского клуба» Палиевскому, Ланшикову и Кожинину: «...вас я читал с 1967 года и даже с еще более ранних времен. Вы были для меня людьми, которым открылись национальные истины. Не националистические, а национальные – мудрость бытия нации».

В 1971 году В. Н. Осипов пришел ко мне и предложил участвовать в издававшемся им машинописном журнале «Вече». Я сказал ему, что он обращается ко мне, очевидно, как к литератору, чьи выступления на страницах легальной печати близки и дороги ему. Владимир Николаевич подтвердил это. Но ведь нет сомнения, заметил я тогда, что мое участие в «Вече» лишит меня возможности публиковаться легально. Осипов согласился со мной, и позднее мы встречались только для устного обсуждения тех или иных проблем, и, приходя ко мне, он каждый раз заботливо сообщал, прежде всего, что по дороге сумел избавиться от слезки...

Между прочим, сегодня Осипов считает, что наилучшим

и наиболее плодотворным путем была бы не атака на власти, но, как он пишет, «неспешное мирное, эволюционное перерастание богоборческого тоталитаризма в нормальную национальную государственность с постепенным отмиранием утопической идеологии»^[13] Этот путь, понятно, подразумевает «легальную» деятельность. Хотя, конечно же, оглядываясь назад, нельзя не признать неизбежность и оправданность возникновения и ВСХСОН, и журнала «Вече» в тогдашних исторических условиях, не говоря уже о безусловной ценности самого *нравственного подвига* Л. И. Бородина, Е. А. Вагина, И. В. Огурцова, В. Н. Осипова, М. Ю. Садо и многих других.

* * *

Более тридцати лет назад жизнь свела меня с несколькими молодыми в то время деятелями абхазской культуры, завершавшими свое образование в Москве. Это знакомство могло, конечно, оказаться не имеющим последствий эпизодом, но с самого начала что-то (я долго не осознавал со всей ясностью, что же именно) глубоко заинтересовало меня в этих людях, их мыслях, их переживаниях. Постепенно я стал вчитываться в книги абхазов и об абхазах, стремясь понять многовековую историю неведомого мне ранее народа (теперь книги эти составляют целый отдел моей личной библиотеки). Наконец, я отправился в Абхазию – не в ту «курортную»,

которую знают многие москвичи, но в полные покоряющего обаяния селения в предгорьях Кавказского хребта: Кутол, Члоу, Моква, Джгерда...

Невозможно рассказать здесь о том, что мне в конечном счете открылось: я отчасти изложил свое открытие в нескольких опубликованных статьях. Скажу лишь следующее: я и разумом, и сердцем не только всецело принял, но и – не убоюсь ответственного слова – полюбил столь немногочисленный (в масштабах мира, да и моей тогдашней страны) и в то же время поистине уникальный, никем не заменимый народ, живущий на таком малом пространстве между реками Псоу и Ингур, отделенными расстоянием всего только около 170 километров. Я увидел богатство, сложность и особенную, скрытую, не выражающую себя в показных акциях *силу* народного духа.

И едва ли найдутся слова, которые способны передать чувства, испытанные мною, когда сотысячный абхазский народ смог победно отразить агрессию четырехмиллионного, то есть в 40(!) раз превосходящего его по численности, соседа! Прошу извинить меня за признание в чисто личной гордости: абхазы неоспоримо подтвердили все то, что я о них передумал в предшествующие годы...

И сколько бы ни уверяли теперь враги абхазского народа, что его победа была-де обеспечена той или иной посторонней помощью, их слова заведомо лживы. Ибо любая помощь это именно и только помощь, а *решает* дело все же тот, кому

помогают, а не те, кто помогает.

Вызывающий преклонение героизм абхазов не нашел, увы, должного признания в *официальном* мнении России и Запада, поддерживающем только то, что *выгодно* поддерживать (об этом я еще буду говорить). Но во всем мире сегодня есть люди, которые восхищаются подвигом абхазского народа. Вообще, поскольку мир ныне стал в буквальном смысле слова единым и каждое весомое событие, происходящее в любой точке планеты, прямо и непосредственно предстает как событие всемирной истории, Абхазия с 1992 года именно прямо и непосредственно вышла на мировую арену (разумеется, история Абхазии на всем ее многовековом протяжении была неотъемлемой частью истории всего человечества, но ранее это не было, так сказать, очевидным для всех фактом).

Между прочим, я имел случай лично убедиться в том, как «абхазская тема» ныне буквально движется через весь мир, как слово об абхазах, прозвучав в Москве, отзывается далеко на Западе, затем звучит в заветной глубине Абхазии и еще раз возвращается в Москву. Дело было так. Осенью 1992 года, во время известного сражения в районе Гагры, я беседовал с несколькими депутатами Верховного Совета России, незадолго до того посетившими Абхазию. Депутат С. Н. Бабурин, зная о моем давнем внимании к Абхазии, спросил меня, каким, на мой взгляд, будет исход гагринских боев. И я в юмористической форме, но все же вполне серьезно ска-

зал, что на этот вопрос полтора года с лишним лет назад ответил Лермонтов известной строкой своего «Демона»: *Бежали робкие грузины...*

Среди беседующих крутился (о чем я и не знал) корреспондент пресловутой мюнхенской радиостанции «Свобода», который в тот же день воспроизвел наш разговор в эфире. А через какое-то время в Москву приехал много лет назад одаривший меня своей лестной дружбой народный поэт Абхазии Багра́т Васильевич Шинкуба и рассказал, как в его родном Члоу люди слышали эту радиопередачу из Мюнхена, а вскоре после этого восхищались точным лермонтовским прогнозом исхода гагринского сражения!..

* * *

Сегодня прямо-таки необходимо осознать, что *Песня* – своего рода средоточие, «центр», «ядро» отечественной культуры, в котором сливаются воедино ее ценнейшие достижения.

И сегодня существует множество людей, которые и творят песню, и поют ее – только в нынешних условиях общения и получения «информации» этих людей надо *искать*, даже не без труда выискивать. Сам я искал их и находил. Около двух десятилетий назад «нашел» я Николая Александровича Тюрина, встреча с которым явилась большим – и длящимся – событием моей жизни. В статье о нем, опубликованной

под названием «Воскрешение песни», в 1978 году в журнале «Огонек» (№ 43) я писал, что «песни и романсы прошлого сейчас сплошь и рядом не поются в подлинном, живом смысле этого слова, а *исполняются*. *Исполнители* выступают в сущности не от себя лично, а, так сказать, в *роли* тех, кто когда-то пел эти песни и романсы... И настоящего воскрешения песни не происходит. Она предстает только как памятник ушедшей культуры, в конце концов, даже как нечто музейное... В творчестве Николая Тюринина... совершается чудо воскрешения песни. Он именно *поет*, а не «исполняет» народные песни и романсы, поет *от себя*, поет *здесь* и *сегодня*, а не реконструирует некое условное прошлое. Это певческое чудо трудно или даже невозможно ощутить и оценить по первому впечатлению, чем и объясняется замедленная реакция слушателей, которую я наблюдал на всех выступлениях Николая Тюринина (на первом из них я и сам, признаюсь, не сразу понял, что передо мною совершается). Когда начинают звучать общеизвестные песни и романсы, каждый из нас уже привычно ожидает услышать *исполнение* вокальных памятников прошлого, а не то живое, глубоко личное и современное творчество певца, которое раскрывается перед нами на концертах Николая Тюринина. «Такого пения мы не слышали», – в один голос говорят все, кому довелось присутствовать на этих концертах.

Речь шла, прежде всего, о *молодых* слушателях. Расскажу в связи с этим об одном тогдашнем концерте Николая Тюринина.

рина. Он состоялся в большом – тысячи на полторы-две человек – зале Дворца культуры МАИ, где тогда проводилась целая серия концертов «по абонементу», на которых поочередно выступали чуть ли не все кумиры – от Аллы Пугачевой до Булата Окуджавы, и зал всегда бывал полон. Распорядитель этих концертов был давно мне знаком, и потому удалось посвятить один из них Николаю Тюрину. Уже хорошо зная, что происходит во время его выступлений, я обратился к чисто молодежному залу со словами о том, что они услышат сегодня нечто совершенно им незнакомое, им предстоит получить три бесценных дара, три «сюрприза».

Во-первых, говорил я, вы услышите *пение*, между тем как до сих пор (тут я позволил себе подразнить аудиторию) вы слушали выкрики, завывания, взвизги, хрипение, пускание слюней в микрофон и т. п., но не пение. Во-вторых, вы услышите нечто такое, о чем вы тем более не имеете представления – *русское* пение. Поначалу оно будет звучать для вас, вполне вероятно, как нечто странное, даже экзотическое, но не торопитесь: на пятой или шестой песне (так и было на предшествующих тюринских концертах) в вас пробудится генетическая память, и вы поймете, что слушаете ваше, родное, кровное, необходимое как воздух...

К этому моменту в зале уже нарастал недовольный гул, грозящий превратиться в проклятия по адресу поучающего оратора. И я, сказав, что о третьем сегодняшнем совсем уж бесценном даре сообщу позже, и еще раз попросив не спе-

шить с оценкой пения, а прослушать сначала хотя бы четыре-пять песен, вызвал на сцену Николая Александровича.

Встретила его, как говорится, жидкими аплодисментами наиболее вежливая часть зала. Но я оказался целиком прав. После пятой или, может быть, шестой песни обрушился настоящий шквал рукоплесканий, и затем уже они каждый раз занимали почти столько же времени, сколько предшествующая им песня...

Это продолжалось более часа, и я решил дать отдохнуть Николаю Александровичу и завел речь о русской песне, предложив присылать записки с вопросами. Одна из первых была, помню, такой: «Почему мы не слышали до сих пор Николая Тюрина?» В ответ я стал говорить примерно то же, что написано в этой статье. Но через какое-то время пришла записка, предназначенная находившемуся также на сцене распорядителю, но по ошибке переданная мне. Какой-то близкий знакомый распорядителя обращался к нему с решительным требованием прекратить мою речь и пригласить на сцену певца. И, зачитав вслух эту записку, я сказал, что она доставила мне наибольшее удовлетворение...

После этого я объявил, что сейчас зал получит третий, совсем уж бесценный дар. Хотя строители не заботились об акустике, я все же попрошу Николая Александровича не пожалеть себя и спеть одну песню без микрофона, дабы вы слышали чудо русского пения без, в какой-то степени нивелирующего, посредства электроники. И это пение вызва-

ло уже настоящий взрыв восторга и просьбы вообще убрать микрофон, но я все же поставил его на место, ибо тюринский голос надо было беречь...

Главный смысл этого рассказа о концерте Николая Тюринна в том, что достаточно широко распространенное мнение о необратимой отчужденности молодежи от традиционной русской песни – заведомая ложь. Верно другое – уже два или даже три поколения молодых людей не имели или почти не имели возможности слушать настоящую русскую песню (что подразумевает, естественно, встречи с настоящими певцами). Нисколько не сомневаюсь, например, что любые сегодняшние юноши и девушки смогут полноценно воспринять прекрасное пение Татьяны Петровой (исключая разве тех из них, которые уже до последнего предела оболванены «металлом», в частности разрушающим самые основы слуха). Однако *ныне в современной* ситуации для этого необходимо, чтобы Татьяна Петрова часто и подолгу являлась на телеэкране, чего, увы, не бывает...

Долгий и внимательный опыт убеждает меня, что русское пение может пробиться на телеэкран, лишь приспособляясь к таким «требованиям», которые совершенно его извращают, заглушают в нем самое основное. В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов я не раз с восхищением слушал выступления вокального ансамбля «Русская песня», работавшего тогда под руководством замечательного музыканта Анатолия Ивановича Полетаева. Эта «Русская песня» бы-

ла тогда в полном расцвете, но познакомиться с нею можно было почти исключительно в каких-то небольших и малоизвестных залах. Позднее, порвав с А. И. Полетаевым, ансамбль начал резко изменяться и, в конце концов, добился широкого доступа на телеэкран, но теперь его и возглавляющую его Надежду Бабкину уже не хочется ни слушать, ни видеть...

В свое время я пытался «пробить» на телеэкран песни Николая Тюриня, но встретил вполне очевидное и непреодолимое сопротивление. Об этом можно немало рассказать, но ограничусь одним достаточно ярким фактом. Меня пригласили участвовать в создании телефильма о Сергее Есенине. Я обрадовался возможности включить в фильм пение Николая Тюриня, который, помимо прочего, поистине изумительно, прямо-таки потрясающе пел мелодически обработанную им самим есенинскую «Песню» («Есть одна хорошая песня у соловушки...»). И что же вы думаете? В последний момент этот – самый главный – эпизод попросту вырезали из уже снятого телефильма. В ответ на мой гневный протест мне «объяснили», что непосредственно перед песней шел, мол, текст о гибели поэта и в совокупности с «невеселой» песней получалось слишком уж «мрачно». Ложь была предельно наглой, поначалу я даже не распознал ее и стал винить себя за неудачно размещенный «текст», но затем понял, что, если дело было именно в этом, ничего не стоило вырезать и перенести в другое место злополучный текст или во-

обще убрать его, оставив великолепное пение. Словом, вырезали именно тюринскую песню... Но когда я это понял, единственное, что мне оставалось, – позвонить в студию и с руганью потребовать убрать мое имя из титров телефильма.

Кстати сказать, я однажды спросил А. И. Полетаева, как, по его мнению, можно добиться широкого выхода Николая Тюринина на телеэкран, и он, имевший немалый опыт в подобных делах, не задумавшись, ответил, что для этого нужно сломать всю систему...

И в самом деле: телеэкраном управляли и управляют лица, которые, как говорится, на дух не переносят русской песни. Нельзя, правда, не отметить, что в последнее время отдельные сотрудники ТВ – явно на свой страх и риск – все же проявляют волю к утверждению этой песни. Так, недавно на телеэкране впервые полноценно явился замечательный певец Александр Николаевич Васин. Собственно, правильнее его назвать древнерусским (уже упомянутом в начале этой статьи) словом «песнотворец», ибо он не только самобытно поет созданные ранее песни, но и творит их сам – и на свои стихи, и на стихи современных поэтов.

IV

«Просить за себя я не умею и не люблю, просить за другого – во много раз легче...»

Году в 1957-м, если только не изменяет память, мне в руки попала, в общем довольно случайно, вышедшая еще в 1929 году книга Бахтина о Достоевском. Я ее прочел. Разумеется, я не хочу сказать – это было бы неправдой – что я сразу же по прочтении понял всю значительность книги. Нет, конечно, но я увидел, что это глубокая, самобытная, неожиданная вещь. Мне было тогда 27 лет, к тому же я вырос не в самой лучшей идеологической атмосфере. Но, во всяком случае, прочитанная книга меня поразила. Я принялся всех расспрашивать: кто такой Бахтин? Мне ничего не было известно о нем. Но и большинство людей, к которым я тогда обращался, особенно первые из них (литературоведы старшего поколения), тоже ничего вразумительного не могли мне ответить: «Он был репрессирован, у него несчастная судьба, он давно умер». И в продолжение довольно долгого времени, года три, я оставался в убеждении, что Бахтина уже нет на свете. Однажды я заговорил о Бахтине с Леонидом Ивановичем Тимофеевым (Бахтин переписывался с ним, а как-то, накануне войны, Л. Тимофеев даже пытался помочь ему,

устроив для Бахтина два доклада в ИМЛИ АН СССР), обмолвившись: «покойный Бахтин»... «Как?! – изумился Тимофеев. – Почему покойный? Он – жив, правда, я не знаю сейчас его адреса, он, говорят, переехал, но он живет в Саранске, преподает в Мордовском университете...»

Пораженный, я тогда же написал Бахтину письмо. В частности о его замечательной книге, о том, что, познакомившись с нею, обратил на нее внимание и еще целого ряда людей, которые необыкновенно высоко ее оценили, и я, собственно, пишу ему и от их имени. От имени С. Бочарова, Г. Гачева, например, которые восхищены его книгой... К этому времени мне стало известно, что в одном из обзоров напечатанной литературы о Достоевском в Америке книга Бахтина тоже оценена не менее высоко. Я сообщил Михаилу Михайловичу и об этом... Сам он едва ли мог об этом узнать.

Надо сказать, Бахтин довольно быстро мне ответил. Ответил прекрасным письмом, прекрасным даже с точки зрения почерка. Потом мне стало известно, то у Бахтина было как бы два почерка: один для себя, другой – для переписки. Для себя его почерк даже трудно разобрать, но для людей он всегда писал почти каллиграфически. В этом, на мой взгляд, тоже выражалась натура человека. Да и письма, кстати, он всегда писал с черновиком, но не для того, чтобы написать по-эффектнее (как довольно часто делали его современники), а просто из уважения к адресату, чтобы тот мог получить действительно отточенное и завершенное в себе послание...

Да, так я начал с ним переписываться и сразу же стал думать о том, как издать его книгу. Я узнал от Бахтина, – а об этом все как-то забыли, – что в архиве ИМЛИ АН СССР хранится его диссертация о Ф. Рабле, которую он защищал в 1946 г. Я тут же эту диссертацию разыскал, прочитал и вновь был потрясен открывшимся мне и совершенно до того неизвестным миром народной смеховой культуры. Сгоряча я принялся тогда добиваться издания именно этой книги. Признаюсь, что это оказалось совершенно невозможным делом. Никто даже не хотел как бы ничего и слушать. Постепенно у меня сложилось убеждение, что тактически правильнее начать с переиздания книги о Достоевском.

Ныне покойный Л. Шубин работал тогда редактором в издательстве «Советский писатель». До этого мы учились вместе в аспирантуре, и я очень хорошо его знал. Так вот, я обратился к нему с предложением: есть такая прекрасная книга, и надо ее переиздать. Именно по его совету я связался с крупнейшими нашими специалистами по Достоевскому, самыми разными, начиная от Л. П. Гроссмана и кончая Б. Рюриковым. Я составил письмо о необходимости переиздания книги, которое – постепенно – целый ряд влиятельных людей, в сущности, все известные специалисты по Достоевскому, подписали. Эту бумагу я сдал в издательство, и книга будто бы сдвинулась с «мертвой точки». Но уже через некоторое время ее движение неожиданно приостановилось...

Я напомнил в редакции о письме-обращении: вот, мол,

виднейшие наши литературоведы-специалисты подписали его – и Виктор Владимирович Виноградов, и Виктор Борисович Шкловский, и целый ряд других известнейших имен... Но, когда я упомянул об этом, тогдашняя заведующая редакцией вдруг несказанно удивилась:

– О чем вы говорите?.. Я что-то не помню никакой бумаги. Я не видела этого письма... Где оно? Я ничего не помню!..

Под этим лживым жестом была своя серьезная подоплека, и я о ней расскажу (тогда я просто ничего не знал о ней). Да, я страшно разозлился и предпринял решительный шаг, написал небольшую статью «Литература и литературоведение», где процитировал основные места из письма и перечислил всех, кто его подписал, добавив, что читатели могут надеяться на издание книги Бахтина. Надо сказать, что это был очень рискованный шаг: многие из тех, кто подписывал прошение, были согласны на то, чтобы в одном экземпляре оно существовало, так сказать, для внутреннего пользования в издательстве, но – в газете, публично!.. Некоторых это чрезвычайно смутило, и в частности Б. Рюрикова, в то время главного редактора «Иностранной литературы». Он был в страшном негодовании, и я навсегда испортил с ним отношения.

Но дело было сделано, письмо обнародовано. Появилось неопровержимое доказательство, что оно существует. Издательство уже не могло возражать, и вновь началось движение книги. Уже задним числом (собственно, через несколь-

ко лет после издания книги), я узнал, что книгу Бахтина – в принципе – издать было невозможно. Во-первых, потому, что Бахтин никогда не был реабилитирован и никогда не стал бы просить об этом: считая для себя такую просьбу делом как бы совершенно ненужным. А он был осужден в 1928 году на семь лет заключения и ссылки. Но это даже не самое важное. Главное, я выбрал, разумеется, ничего не зная об этом, самое неудачное издательство для продвижения книги Бахтина: издательство «Советский писатель». Дело в том, что директором его в то время был Лесючевский, человек, который в 1928 г. работал в Ленинградском ОГПУ и лично был причастен к «делу Бахтина». Знал он все досконально. Я же, естественно, не имел обо всем этом ни малейшего представления и пошел по такому тягостному и, казалось бы, совершенно безнадежному пути. Да, в то время издавали книги многих реабилитированных людей, но Бахтин к ним не принадлежал, и он был арестован и осужден не в 1937 году, а значительно раньше: другое время, другое отношение...

Да, так вот поначалу дело двигалось чрезвычайно трудно, и я вынужден был прибегать – об этом можно было бы рассказывать очень долго – подчас даже к уловкам... Прежде всего приведу такой пример. Он интересен и тем, что имеет продолжение. В самый разгар моей издательской деятельности в Москву приехал довольно известный итальянский литератор Витторио Страда. Впоследствии он приобрел репутацию крайнего ревизиониста, но в то время считался про-

сто крупным специалистом по советской литературе. К тому же он был членом Компартии Италии. По приезде он почему-то пожелал встретиться со мной, тогда еще совсем молодым литератором, и пришел ко мне. Во время беседы он, в частности, с гордостью заявил, что работает сейчас в известном итальянском издательстве, которое собирается издавать все лучшие книги о Достоевском. Он принялся перечислять авторов – Гроссман, Шкловский и прочая, целый ряд имен...

– Послушайте, Витторио, – говорю я ему, – это все книги не такие уж и значительные. Ведь есть совершенно гениальная книга о Достоевском – М. М. Бахтина. Вот какую книгу вам следует издать прежде всего!

Он отнесся к моему предложению крайне скептически, и это понятно, он просто никогда не слышал самого имени Бахтина. Я понял, что он ничего не сделает и для издания его книги. И я предлагаю ему:

– А не могли бы вы оказать мне одну услугу?

– Что такое?..

– Я очень прошу вас, когда вы вернетесь в Италию, пришлите в агентство «Международная книга» письмо, свидетельствующее о желании вашего издательства опубликовать книгу Бахтина. Это, разумеется, ни к чему вас не обязывает, но мне вы окажете тем самым серьезную услугу. Напишите к тому же, что, поскольку сам М. М. Бахтин живет в Саранске, то здесь, в Москве, его интересы представляет В. В. Кожинов, к которому вы и просите обратиться для соответствующей

щих переговоров.

Прошло какое-то время, и мне действительно звонят из «Международной книги». Все было исполнено именно так, как я и просил. Я моментально составил бумагу от имени «Международной книги», направленную в адрес «Советского писателя»: в связи с тем, что (все бумаги, кстати, у меня в архиве, как и рукописи М. М. Бахтина, сохранены) работа Бахтина готовится для публикации в Италии, агентство предлагает как можно скорее издать эту книгу на русском языке с тем, чтобы ее перевод на итальянский осуществлялся уже с нового издания. «Международная книга» настаивает на скорейшем ходе дела...

После этого я стал добиваться приема у директора «Международной книги», заместителя министра внешней торговли СССР с тем, чтобы как-то лично на него воздействовать. По счастью, мне это действительно удалось и вот каким образом. Поначалу директор воспринял мои предложения без всякого энтузиазма и даже откровенно удивился, с чего это я явился к нему по столь странному поводу. Но я сказал ему:

– Простите, я вижу, вы достаточно холодно относитесь к моему предложению, но, поверьте, совершенно напрасно: вполне может получиться вторая история с Пастернаком.

Дело в том, что незадолго до этого в Италии была издана книга Пастернака «Доктор Живаго». Я объясняю, что текст книги Бахтина у итальянцев есть, и они, ничего не дожидаясь, могут его издать, причем, разумеется, с соответствующими

щим предисловием. Будет скандал не меньший, чем с книгой Пастернака.

Надо признать, что такой оборот дела страшно перепугал директора. Он преобразился и принялся расспрашивать меня сам:

– Что же делать? Как этого избежать?

– Очень просто! Надо добиться немедленного издания книги М. Бахтина. Вы ведь знаете, как идет дело у нас в издательствах. К тому же Бахтин забыт, живет в Саранске, сам ничего предпринимать не может, а книга его лежит в издательстве, не движется...

И сам тем временем подсовываю ему предварительно составленное письмо с самыми резкими требованиями в адрес «Советского писателя».

Надо сказать, что после этого дело сдвинулось вновь. Книга, если мне не изменяет память, была после этой истории сдана в набор. Но...

Неожиданно книгу пожелала посмотреть Книпович, литератор, которая играла в издательстве «Советский писатель» роль некоего «теневого директора». Она прочитала (как она писала, хотя я в этом совсем не уверен) рукопись и написала бумагу – по собственной инициативе, никто ее официально не просил! – содержание которой было таково: да, нам действительно необходимо подумать на будущее и о том, чтобы издавать некоторые немарксистские работы о Ф. М. Достоевском, вышедшие еще в 20-е годы. Она перечислила несколь-

ко имен, упомянув среди них почему-то и Б. Эйхенбаума, который, насколько мне известно, ничего про Достоевского не писал. Но, продолжала Книпович, надо подойти к этому предприятию чрезвычайно серьезно, поручить его подготовку опытнейшему литературоведу-марксисту, который все тщательно и обстоятельно рассмотрит. Так что дело следует начинать, но почему же его надо начинать с Бахтина?..

Во всяком случае, книга остановилась опять...

И вдруг неожиданно я получил письмо от его жены, которая очень просила меня приехать в Саранск. Ее просьба была связана с тем, что она тяжело заболела, боялась, что уже не выживет, умрет, и видела во мне человека, которому она может, так сказать, с рук на руки сдать М. Бахтина. Она прекрасно знала по нашей переписке, как я к нему отношусь, с каким преклонением. Знала и то, что есть группа молодых людей, которые так же высоко его ценят... К счастью оказалось, что опасения ее были преждевременны, она прожила еще до 1971 года. А это было в 1961 г.

В дороге я думал о том, что мне будет чрезвычайно тяжело, приехав, утешать старого человека, жизнь которого сложилась столь драматически: книга его вышла в 1929 году и за исключением отдельных случайных статей, да еще и изданных под чужими именами, он до 1961 года, то есть в течение 32 лет, совсем не печатался. Причем это в лучшие годы его жизни! В 1929 году ему было 34 года! И в этот самый расцвет творчества он совершенно не существовал для читателя... Я

полагал, что Бахтин живет в мрачном состоянии духа, и хотя тон его писем ко мне был бодрый, тем не менее я полагал, – что, когда я приеду к нему, его надо будет утешать, искать какие-то слова, сказать о том, что не считайте, мол, будто ваша жизнь прошла напрасно и проч. И вот, чувствуя, что мне трудно будет вести подобный разговор, я решил взять с собой своих друзей по ИМЛИ – С. Бочарова и Г. Гачева. Втроем мы и поехали в Саранск.

Город этот был тогда... провинция и печать запустения. Но это – разговор особый...

Итак, мы приходим к Бахтину. Усаживаемся, начинается разговор, и не прошло, я думаю, 15–20 минут, как самый непосредственный из нас, Г. Гачев вдруг встал на колени, и, по-детски опершись руками о стол, искренне спросил:

– Михаил Михайлович, скажите, как жить, чтобы стать таким, как вы!..

Да... За эти 15–20 минут Бахтин произвел на нас потрясающее впечатление, и это только в преддверии подлинного общения. Я должен сказать, что, встретившись с ним, я впервые в жизни встретился тогда с подлинно великим человеком. Это было видно сразу, и тут нельзя было ошибиться...

Мы приехали его утешать! А теперь, пораженные, сами ждали от него утешения, урока. То, что вырвалось у Г. Гачева, мог бы произнести каждый из нас: не мы ему, а он нам был нужен. Эти жуткие тридцать лет никак его не раздавили, он был абсолютно уверен в своем призвании, миссии, ес-

ли хотите... И не было у него ни грана тщеславия, а у нас – ощущение полного равенства. К каждому человеку он обращался, как к самоценному и равному: «Ты еси!»

Без сомнения, ни малейшего расхождения между жизнью и словом у Бахтина не было, он блестяще писал об ответственности гуманитарного знания. Это просто уникальная способность к духовному общению: к нему, это общеизвестно, часто приходили мордовские писатели, исповедовались ему... И он умел разговаривать с каждым. В этом не было ничего нарочитого, ни малейшего «умения», все совершалось само собой, органически...

Именно после этого посещения я узнал, что Бахтин до ссылки был в самых приятельских отношениях с К. Фединым. Правда, когда в 30-х гг. он приезжал в Москву и звонил Федину, то писатель его не узнал... Сделал вид, конечно, что не узнал. Ответил: вы, вероятно, ошиблись... «Ошиблись!»

Я не осуждаю К. Федина. Его слишком легко понять: время было суровое. Но я подумал о том, что К. Федин должен бы ощущать вину, испытывать какое-то чувство вины перед Бахтиным.

Но выяснилось, что попасть к нему – дело чрезвычайно сложное. Никто просто не мог мне сказать, где в какое время Федин находится: то ли в Барвихе, то ли на даче, то ли в отъезде, то ли в санатории...

Отчаявшись, я позвонил прямо в секретариат СП СССР и с педалированным немецким акцентом стал страстно взы-

вать:

– Я дойче шриффтштеллер, я Ганс Гюнтер... Когда Федин, ваш Федин жил в Дойчлянд, я хотел назвать Германий... он был мой камрад, мы очень дружили с ним... Я приехал ин Москау и хотел видеть Федин, говорить с ним... Да-да, видеть!..

Уловка подействовала. Секретарша сообщила мне, что Федин на днях вернется в свою городскую квартиру, назвала день, час...

В назначенное время я уже дежурил у подъезда. Видел, как подъехала машина, как вышел Федин с дочерью, прошли в дом... Я дал им время освоиться в квартире и позвонил. Зная, что меня не впустят, я сразу, как только отворилась дверь, закричал громко и с таким расчетом, чтобы мои слова были услышаны в квартире:

– Я приехал от Михал Михалыча Бахтина! Он был дружен с Константином Александровичем!.. Он...

Я рассчитал правильно: старик выглянул!

– Он жив?!..

– Да, конечно...

Я был допущен в квартиру и быстро изложил Федину свои трудности с издательством. И он, тогда же, в прихожей, подписал обращение в «Советский писатель» с просьбой ускорить издание книги Бахтина...

Помощью Фебина мне пришлось воспользоваться еще раз и, надо сказать, при уже совершенно карнавальных обстоя-

тельствах, совершенно в духе героев Рабле. Федин вторично подписал резкое, категоричное решительное требование, обращенное к директору издательства о переиздании книги Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». Книга уже была набрана, но все остановилось, потому что заупрямился директор «Советского писателя», бывший гепеушник Лесючевский. Не ведаю уж, чем он руководствовался, но книгу не подписывают в печать. Она лежит уже столько времени, что могут начать рассыпать набор, а ей хода не дают... Я решил обратиться к Федину и выяснил, что он живет на даче. Подхожу к ограде, калитка открыта, никакого звонка нет, никто не подходит, хотя на территории дачи, как мне известно, было человек 5–6 обслуги. Но пройти нельзя: через весь двор протянута проволока, к которой прицеплен огромный волкодав, контролирующей дорожку к дому. Приоткрываю калитку – собака злобно рычит... А я панически боюсь собак. По всей вероятности, это связано с тем, что (реальный факт!) мою мать, когда она была мной беременна, искусала собака. Меня никогда в жизни ни одна собака не кусала, но до сих пор я их ужасно боюсь. Особенно маленьких, потому что мать мою искусала маленькая собака... Тут, правда, здоровый пес, но все равно – страх! Поскольку я жил тогда неподалеку от Федина, я вернулся к себе, взял велосипед, потом широко открыл фединскую калитку, отъехал подалее, разогнался и – ворвался во двор! Волкодав буквально обезумел. Он мчался за мной, но добраться до меня не

мог: я отчаянно крутил педали, и ему никак не удавалось вцепиться в мою ногу зубами. Я врзался прямо в терраску, быстро взлетел на нее – это у меня все так было рассчитано. Собака – исходит яростью и пеной, бьется в истерике (не выполнила свою «боевую задачу»!)... Выскочили какие-то люди... И среди них, я вижу, – дочь Федина, а одновременно его хранительница и секретарь, такая крупная женщина, несколько даже мужского облика. Она меня уже знала, и я, обращаясь к ней, прохрипел: «Простите, но я иначе не мог прорваться. Решается вопрос о книге М. М. Бахтина...» – и протянул ей листки заранее составленного письма. Она вырвала их у меня из рук, а тут уже, слышу, сам Федин высунулся из окна второго этажа: «Что такое?..» Причем, точнее, это было даже два письма. Я специально заготовил на всякий случай, как двуствольное ружье, два послания – одно в издательство «Советский писатель», а другое – в «Художественную литературу». Названия издательств я не обозначил, а написал только имена и отчества директоров... Боялся, знаете ли: если Федин смекнет, что речь идет сразу о двух книгах, то возмутится, скажет, мол, мало одной, так еще и вторая... Поэтому я все и «зашифровал», будто бы ходатайство одно, но адресовано двум разным должностным лицам... И книги, конечно, тоже не назвал, а просто написал в обоих случаях: «Книга Бахтина...» Причем составлено это было в резких тонах, от имени Федина: дескать, я уже обращался по данному поводу, но ничего не движется, а Бахтин не может

ждать, он старый, больной и много испытавший человек, вы должны ему помочь и т. д. Ну, и дочь, значит, взяла эти листки, ушла. Собаку тем временем служитель Федина отвел в сторону (и, в конце концов, ее неудача на ней, может, плохо отразилась). Вскоре дочь принесла подписанные Константином Александровичем бумаги, я, весьма опасаясь волкодава, уехал на велосипеде и сразу же отправил их по адресам...

Вообще, тогда я уже понял одну существенную вещь... Не знаю, как сейчас, но в ту эпоху было два совершенно разных типа начальственных указаний: официальный и в форме личного обращения. Официальные указания часто не принимали во внимание: мало ли что – кто-то мог о чем-нибудь попросить, а кто-то из чиновников по должности вроде как бы должен был отреагировать таким официальным указанием... Неизмеримо сильнее действовали личные обращения. Вот эти письма и были составлены именно так, и одна женщина, выдав себя за дальнюю родственницу Федина, отнесла одно из них к Лесючевскому. Не располагаю сведениями о том, какую резолюцию наложил на письмо Лесючевский, но, что интересно (это можно проверить по сохранившейся копии письма), – дата фединского письма точно совпадает с датой подписания книги в печать. Так «Поэтика Достоевского» оказалась опубликованной, и вместе с тем это значительно продвинуло и книгу о Рабле.

Подобных случаев было множество. Я вам прямо скажу, что об истории издания книг М. М. Бахтина можно написать

большой авантюрный роман, изобилующий и неприятными, и веселыми подробностями и сценами.

Кстати, когда книга о Рабле готовилась к публикации, М.М. категорически отказался ее издавать, если он не сможет ознакомиться со всем тем, что написано существенно о Рабле после 1940 года, и не добавит эти данные к уже имеющимся. Мне пришлось всеми правдами и неправдами доставать эти книги, то есть, я брал их в библиотеках, привозил ему или пересылал как-то, и он действительно со всем ознакомился. Тем не менее, когда пришло время сдавать рукопись в издательство, он заявил, что она не готова. Я специально приехал к нему для этого, приехал вместе с известным ныне литературоведом Дмитрием Урновым (так что в данном случае есть свидетель несколько забавного и даже странного сюжета). Так вот, приезжаю, а М.М. говорит мне: «Нет, книга не готова, я не могу ее сдать». Там уже все закрутилось, уже все решено, если срочно не сдать рукопись, то она выпадет из плана и так далее... И тогда, я помню, Елена Александровна вызвала меня на кухню – чтобы не при нем, чтобы он не слышал – и говорит: «Димочка (так она меня называла), Димочка, отнимите у него эту рукопись». И вы знаете, я именно так и сделал.

Шкловский, когда вышла книга М.М. о Достоевском, написал о ней достаточно критически; и о «Творчестве Франсуа Рабле.» – тоже. Это была старая неприязнь. Хотя в последние годы Виктор Борисович стал как-то немного тянуться к

Бахтину. И даже помог мне, когда я «пробивал» книгу о Рабле. Помню, это был интересный эпизод... Первым составленное мною ходатайство подписал Ермилов, который незадолго до того напечатал разгромную рецензию на книгу Шкловского «За и против». Я позвонил Шкловскому, он сразу согласился все подписать. Приезжаю к нему, подаю этот лист, а там уже стоит подпись Ермилова. Шкловский так и вспыхнул: «Послушайте, это что же вы мне предлагаете?! Чтобы я с Ермиловым, с этим негодяем, который меня обругал, чтобы я с ним вместе подписывался?!» А я, поскольку очень хотел своего добиться, в такие моменты весь пребывал в огромном напряжении, и меня всегда словно бы осеняло, я интуитивно понимал, что нужно предпринять. Я ему говорю: «Виктор Борисович, вы меня разочаровываете.» Он удивляется: «Что такое, в чем дело?..» – «Я вообще считал, что вы – самый эксцентричный человек, который проживает на территории Союза Советских Социалистических Республик. Это же крайне оригинально, что вы подписываетесь рядом с Ермиловым, наоборот, обязательно надо поставить подпись, ведь это ваш стиль – удивлять других: вы с Ермиловым, своим злейшим врагом.» – «А что, пожалуй вы и правы», – сказал он. И подписал ходатайство. Подобных случаев было множество.

* * *

Вот, еще один эпизод... Произошло это сразу же после

смерти Елены Александровны. Михаил Михайлович тогда пребывал в тяжелейшем положении. Знаете, если бы я сам этого не видел, то любые свидетельства счел бы ложными: но Михаил Михайлович действительно в течение суток стал другим человеком. Он стал совсем маленьким, совершенно жалким... Так в нем поражала какая-то монументальность, а смерть жены разрушила ее совершенно. Он даже потом рассказал, что вообще собирался умереть, но в последний момент передумал. Кстати, он не раз повторял: «Смерть наступает тогда, когда есть сигнал из какого-то высшего духовного центра человека... Только тогда человек умирает...» Ну, конечно, речь идет не о какой-нибудь чудовищной травме... Но во время болезни, он говорил, есть приказ, отдаваемый вот этим самым внутренним центром, – жить дальше или умереть... Михаил Михайлович прожил еще 4 года. Правда, это было скорее уже медленное умирание, но тем не менее... И когда он остался один, то категорически отказывался у кого-либо поселиться... Я его хорошо понимаю: это очень неприятно – осознавать, что ты будешь кому-то как бы в тягость и прочее... Я приглашал его поселиться у себя, но он сразу отклонил все разговоры об этом. И тогда мы устроили Михаила Михайловича в переделкинский Дом творчества. Он еще не состоял в то время в Союзе писателей... Только потом, после долгих уговоров, он туда вступил... Между прочим, столь же категорично Бахтин отказался от звания профессора. И когда я спросил: «Михаил Михайлович, по-

чему вы так пренебрегаете этим?..» – он ответил: «Понимаете, философ должен быть никем, потому что если он становится кем-то, то он начинает приспособлять свою философию к своей должности». Он сказал это несколько шутливо, но в тех словах была своя логика и свой смысл... Я, кстати, поэтому так и довольствовался степенью кандидата наук... Я в 1958 году защитил кандидатскую диссертацию, но всегда уклонялся от защиты докторской, как бы подражая Бахтину...

Так вот, он поселился в Переделкине. Причем, как инвалида, его поместили вместе с «экономкой», которая за ним ухаживала. Прожил он месяц (положенный срок), мы настояли на втором, потом стали настаивать на третьем... И его оттуда буквально начали выкидывать... Дирекция Дома пожаловалась директору Литфонда, т. е. вышестоящей организации... Тот дал указание Михаила Михайловича выселить. Причем его особенно раздражало, что «там еще какая-то женщина». Надо было как-то спасать положение. В Москве уже готовилась квартира для Бахтина (в писательском доме она освобождалась после чьего-то отъезда за рубеж. То есть кооперативная квартира покупалась за деньги Михаила Михайловича). Необходимо было продержаться еще совсем немного... Я узнал, от кого это зависело, и пошел к заместителю председателя Союза писателей, секретарю по оргработе. Обычно эту должность занимал генерал КГБ, такой порядок существовал в Союзе писателей. Фамилию этого това-

рища я забыл, но это неважно: он недолго просидел в своем кресле. Вскоре его выгнали – из-за Солженицына. За то, что не смог предотвратить историю с Солженицыным...

Прихожу, значит, к этому чиновнику, начинаю просить за Бахтина... Естественно, подготовился, настроился как следует... И вот как я его сразил... Он отказывался: «Ну, слушайте, нельзя же, он не член Союза писателей... Я понимаю, что тяжелое положение, но что мы можем сделать и т. д.» Тогда я вытащил из своего портфеля книжку журнала «Известия Академии наук. Отделение языка и литературы», в которой незадолго до этого была напечатана статья, подписанная Жирмунским, Мейлахом и Фридлиндером. Называлась эта статья так: «Вопросы поэтики и теории романа в работах М. М. Бахтина». Я ему дал это прочитать и сказал: «Вот видите, только что появилась статья О ТРУДАХ БАХТИНА. Вот, обратите внимание, после товарища Сталина ни о ком так не писали...» А, вы ведь помните, действительно при Сталине все время писали: «Вопросы языкознания или вопросы экономики в работах (или трудах) И. В. Сталина»... Вот я ему и говорю: «Вы теперь понимаете, кто такой Бахтин? Это тут три академика о его трудах размышляют...» (здесь я малость преувеличил: тогда еще только Жирмунский из них троих был академиком). И оказалось, что я правильно рассчитал. Название статьи произвело на него впечатление. Он сразу же вызывает секретаршу и распоряжается: «Соедините меня с директором Литфонда!»

Поднимает трубку и начинает: «Там... это самое... Бахтин у тебя...» А директор Литфонда (я-то рядом сижу, мне все слышно), негодуя от возмущения, кричит: «Да-да! Это безобразие! Как можно!..» – «Послушай меня, послушай!.. Бахтина не трогать! Пускай живет в Доме творчества, сколько ему нужно...» Тот снова вопит: «Как же так?! Ведь он...» А начальник ему в ответ: «Ты что, русского языка не понимаешь?!» И повесил трубку. И все. После этого Михаил Михайлович жил в Переделкине, не могу вспомнить сколько, но в общем, до того момента, как закончилась подготовка квартиры.

Вот вам пример действия; поскольку я всем сердцем рад дел за Михаила Михайловича и очень хотел ему помочь, я становился гораздо умнее и изворотливее, чем являлся на самом деле. Если бы я пекся о своем, личном деле, то мне ничего такого никогда бы не пришло в голову...

Просить за себя я не умею и не люблю, просить за другого – во много раз легче.

Часть I

Россия как уникальная цивилизация и культура

Глава 1

О месте России в мире

С чисто географической точки зрения проблема вроде бы совершенно ясна: Россия со времени начавшегося в XVI веке присоединения к ней территорий, находящихся восточнее Уральского хребта, являет собой страну, которая частью входит в Европейский континент, а частью (значительно большей) – в Азиатский. Правда, сразу же встает вопрос о существенном своеобразии и даже уникальности такого положения вещей в современном мире, ибо остальные страны гигантского Евразийского материка всецело принадлежат либо Европе, либо Азии (3 процента территории Турции, находящиеся на Европейском континенте, – единственное «исключение из правила»). И в настоящее время даже и в самой России на указанный вопрос нередко дается способный огорчить многих русских людей ответ, который можно кратко изложить следующим образом.

Государство, сложившееся примерно тысячу двести лет назад и первоначально называвшееся Русью, было *европейским* (точнее, восточноевропейским), но начиная с XVI века оно, как и целый ряд других государств Европы, – Испания, Португалия, Великобритания, Франция, Нидерланды и т. д. – предприняло широкомасштабную экспансию в Азию, превращая громадные ее территории в свои *колонии*^[14]. После Второй мировой войны (1939–1945) государства Запада постепенно так или иначе «отказались» от колоний, но Россия по-прежнему владеет колоссальным пространством в Азии, и хотя после «распада СССР» в 1991 году более трети азиатской части страны стало территориями «независимых государств», нынешней Российской Федерации (РФ) принадлежат все же 13 млн. кв. км. азиатской территории, что составляет треть (!) всего пространства Азии и, скажем, почти в четыре раза превышает территорию современной Индии (3,28 млн. кв. км).

О том, являются (или являлись) вошедшие в состав России азиатские территории *колониями*, речь пойдет ниже. Сначала целесообразно поставить другой вопрос – об огромном пространстве России как таковом. Достаточно широко бытует представление, согласно которому чрезмерно большая территория при сравнительно небольшом населении, во-первых, свидетельствует об исключительных «имперских» аппетитах, а во-вторых, является причиной многих или даже (в конечном счете) вообще всех *бед* Рос-

сии-СССР.

В 1989 году на всем гигантском пространстве СССР, составлявшем 22,4 млн. кв. км – 15 % всего земного шара (суши) – жили 286,7 млн. человек, то есть 5,5 % тогдашнего населения планеты. А ныне, между прочим, положение даже, так сказать, усугубилось: примерно 145 млн. нынешних жителей РФ, – менее 2,3 % населения планеты – занимают территорию в 17,07 млн. кв. км (вся площадь РФ), составляющую 11,4 % земной поверхности, то есть почти в 5 раз больше, чем вроде бы «полагается»... Таким образом, те, кто считает Россию страной, захватившей непомерно громадную территорию, сегодня имеют, по-видимому, особенно веские основания для пропаганды этой точки зрения.

Однако даже самые устоявшиеся точки зрения далеко не всегда соответствуют реальности. Чтобы доказать это, придется опять-таки привести ряд цифр, хотя далеко не все читатели имеют привычку и желание разбираться в цифровых соотношениях. Но в данном случае без цифр не обойтись.

Итак, РФ занимает 11,4 % земного пространства, а ее население составляет всего лишь 2,3 % населения планеты. Но, например, территория Канады – 9,9 млн. кв. км., то есть 6,6 % земной поверхности планеты, а живет в этой стране всего лишь 0,4 (!)% населения Земли (28 млн. человек). Или Австралия – 7,6 млн. кв. км (5 % суши) и 18 млн. человек (менее 0,3 % населения планеты). Эти соотношения можно выразить и так: в РФ на 1 кв. км территории приходится 8,5

человек, а в Канаде – только 2,8 и в Австралии – всего лишь 2,3. Следовательно, на одного человека в Канаде приходится в три раза больше территории, чем в нынешней РФ, а в Австралии даже почти в четыре раза больше. И это не предел: в Монголии на 1,5 млн. кв. км живут 2,8 млн. человек, то есть на 1 кв. км приходится в пять раз меньше людей, чем в России.

Исходя из этого, становится ясно, что утверждение о чрезмерном деобилии территории, которым владеет именно *Россия* – тенденциозный миф, который, к сожалению, внедрен и в умы многих русских людей.

Не менее существенна и другая сторона дела. Более половины территории РФ находится немногим южнее или даже севернее 60-й параллели северной широты, то есть в географической зоне, которая, в общем и целом, считается непригодной для «нормальной» жизни и деятельности людей: таковы расположенные севернее 58 градуса Аляска, северные территории Канады, Гренландия и т. п. Выразительный факт: Аляска занимает ни много ни мало 16 % территории США, но ее население составляет только 0,2 % населения этой страны. Еще более впечатляет положение в Канаде: ее северные территории занимают около 40 процентов всей площади страны, а их население – всего лишь 0,02 % (!) ее населения.

Совершенно иное соотношение сложилось к 1989 году в России (имеется в виду тогдашняя РСФСР): немного южнее

и севернее 60 градуса жили 12 % ее населения (18 млн. человек)^[15], то есть почти в 60 раз большая доля, чем на соответствующей территории США, и почти в 600 (!) раз, чем на северных территориях Канады.

И вот именно в этом аспекте (а вовсе не по исключительному «обилию» территории) Россия в самом деле *уникальная* страна.

Один из главных истоков государственности и цивилизации Руси город Ладога в устье Волхова (к тому же исток, как доказала современная историография, изначальный; Киев стал играть первостепенную роль позже) расположен именно на 60-й параллели северной широты. Здесь важно вспомнить, что западноевропейские «колонизаторы», внедряясь в страны *Южной Азии* и *Центральной Америки* (например, в Индию или Мексику) находили там высокоразвитые (хотя и совсем иные, нежели западноевропейская) цивилизации, но, добравшись до 60 градуса (в той же северной Канаде), заставляли там – даже в XX веке – поистине «первобытный» образ жизни. Никакие племена планеты, жившие *в этих широтах* с их климатическими условиями, не смогли создать сколько-нибудь развитую цивилизацию.

А между тем Новгород, расположенный не намного южнее 60 градуса, уже к середине XI века являл собой средоточие достаточно высокой цивилизации и культуры. Могут возразить, что в то же время находящиеся на той же северной широте южные части Норвегии и Швеции были цивили-

лизованными. Однако благодаря мощному теплomu морскому течению Гольфстрим^[16], а также общему характеру климата Скандинавии и, кстати сказать, Великобритании (*океаническому*, а не *континентальному*, присущему России^[17]) зимние температуры в южной Норвегии и Швеции в среднем на 15–20 (!) градусов выше, чем в других находящихся на той же широте землях, и снежный покров, если изредка и бывает, то не более месяца, между тем как на той же широте в районе Ладоги-Новгорода снег лежит 4–5,5 месяца! В отличие от основных стран Запада в России необходимо в продолжение более половины года интенсивно отапливать жилища и производственные помещения, что подразумевает, понятно, очень весомые затраты труда.

Не менее важно и другое. В истории высокоразвитой цивилизации Запада громадную роль играл водный – морской и речной – транспорт, который, во-первых, во много раз «дешевле» сухопутного, и, во-вторых, способен перевозить гораздо более тяжелые грузы. Тот факт, что страны Запада окружены незамерзающими морями и пронизаны реками, которые или вообще не замерзают, или покрываются льдом на очень краткое время, во многом определил беспрецедентный экономический и политический *динамизм* этих стран. Разумеется, и в России водные пути имели огромное значение, но здесь они действовали в среднем только в течение половины года.

Словом, сложившаяся тысячелетие назад вблизи 60-й па-

раллели северной широты и в зоне *континентального* климата государственность и цивилизация Руси в самом деле уникальное явление; если ставить вопрос «теоретически», его как бы вообще *не должно было быть*, ибо ничто подобное не имело места на других аналогичных территориях планеты. Между тем в суждениях о России уникальные условия, в которых она сложилась и развивалась, принимают во внимание крайне редко, особенно если речь заходит о тех или иных «преимуществах» стран Запада сравнительно с Россией.

А ведь дело не только в том, что Россия создавала свою цивилизацию и культуру в условиях климата 60-й параллели (к тому же континентального), то есть уже не столь далеко от Северного Полярного круга. Не менее многозначителен тот факт, что такие важнейшие города России, как Смоленск, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск и т. д., расположены примерно на 55-й параллели, а в Западной Европе *севернее* этой параллели находится, помимо скандинавских стран, одна только Шотландия, также «утепляемая» Гольфстримом. Что же касается США, *вся* их территория (кроме почти безлюдной Аляски) расположена *южнее* 50 градуса, между тем как даже *южный* центр Руси, Киев, находится севернее этого градуса.

В нынешней же РФ территории южнее 50-й параллели составляют 589,2 тыс. кв. км – то есть всего лишь 3,4 (!)%

ее пространства (эти южные земли населяли в 1989 году 20,6 млн. человек – 13,9 % населения РСФСР – не намного больше, чем в самых *северных* областях). Таким образом Россия сложилась на пространстве, кардинально отличающемся от того пространства, на котором развивались цивилизации Западной Европы и США, притом дело идет не только о географических, но и геополитических отличиях. Так, громадные преимущества водных путей, особенно незамерзающие моря (и океаны), которые омывают территории Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии и т. д., а также США, – основа именно *геополитического* «превосходства».

Тут, впрочем, может или даже должен возникнуть вопрос о том, почему территории Азии, Африки и Америки, расположенные *южнее* стран Запада (включая США), в тропической зоне, явно и по многим параметрам «отставали» от западной цивилизации? Наиболее краткий ответ на такой вопрос уместно изложить следующим образом. Если в арктической (или хотя бы близкой к ней) географической зоне огромные усилия требовались для элементарного *выживания* людей, и их деятельность, по сути дела, исчерпывалась этими усилиями, то в тропической зоне, где, в частности, земля плодоносит круглый год и не нужны требующие больших затрат труда защищающие от зимнего холода жилища и одежда, *выживание* давалось как бы «даром», и не было настоятельных стимулов для развития материальной цивили-

зации. А страны Запада, расположенные в основном, между 50-й и 40-й параллелями, представляли собой с этой точки зрения своего рода «золотую середину» между Севером и Югом.

* * *

Выше изложены «общедоступные» сведения, но они, как уже сказано, крайне редко учитываются в рассуждениях о России и – что особенно прискорбно – при *сопоставлениях* ее истории (и современного бытия) с историей (и современным бытием) Западной Европы и США. Как ни странно, подавляющее большинство идеологов, рассуждающих о тех или иных «преимуществах» западной цивилизации над российской, ставит и решает вопрос только в *социально-политическом* плане: любое «отставание» от Запада в сфере экономики, быта, культуры и т. д. пытаются объяснить либо (когда речь идет о Древней Руси) «феодальной раздробленностью», либо (на более поздней стадии), напротив, «самодержавием», а также «крепостничеством», «имперскими амбициями», наконец, «социалистическим тоталитаризмом».

Если вдуматься, подобные толкования основаны в сущности на своего рода *мистицизме*, ибо, согласно им, Россия-де имела все основания, чтобы развиваться так же, как и страны Запада, но некие зловещие силы, прочно угнездившиеся с самого начала ее истории на верхах государства и общества,

подавляли или уродовали созидательные потенции страны...

Именно в духе такого «черного» мистицизма толкует историю России, например, небезызвестный Е. Гайдар в своем сочинении «Государство и эволюция» (1995 и последующие издания). В заключение он заявляет о необходимости «сместить главный вектор истории России» (с. 187), – имеется в виду *вся* ее история!

Помимо прочего, он считает необходимым «отказаться» от всего «азиатского» в России. И в этой постановке вопроса с наибольшей очевидностью выступает заведомая несостоятельность воззрений подобных идеологов. Дело в том, что «отказ» от всего «азиатского» означает именно отрицание *всей* отечественной истории в целом.

Как уже было упомянуто, Россия начала присоединение к себе территорий Азии (то есть зауральских) только в конце XVI века, но *совместная история* восточных европейцев-славян и азиатских народов началась восемью столетиями ранее, во время самого *возникновения* государства Русь. Ибо многие народы Азии вели тогда кочевой образ жизни и постоянно двигались по громадной равнине, простирающейся от Алтая до Карпат, нередко вступая в пределы Руси. Их взаимоотношения с восточными славянами были многообразны – от жестоких сражений до вполне мирного сотрудничества. Насколько сложными являлись эти взаимоотношения, очевидно из того, что те или иные враждующие между собой русские князья нередко приглашали на помощь *полов-*

цев, пришедших в середине XI века из Зауралья и поселившихся в южнорусских степях. Более того, еще ранее, в IX – X веках, Русь вступила в опять-таки сложные взаимоотношения с другими азиатскими народами – хазарами, булгарами, печенегами, торками и т. д.

К сожалению, многие «антиазиатски» настроенные историки внедрили в массовое сознание представление об этих «азиатах» только как о чуть ли не смертельных врагах Руси; правда, за последние десятилетия было создано немало основательных исследований, из которых явствует, что подобное представление не соответствует исторической реальности^[18]. Даже определенная часть хазар (козар), входивших до последней трети X века в весьма агрессивный по отношению к Руси Хазарский каганат, присоединялись к русским, о чем свидетельствует богатырский эпос, один из достославных героев которого – Михаил *Козарин*.

Ложно понимается, увы, и ситуация, воссозданная во всем известном «Слове о полку Игореве», где будто бы изображена роковая непримиримая борьба половецкого хана Кончака и русского князя Игоря, между тем как историю их конфликта венчает женитьба сына Игоря на дочери Кончака, принявшей Православие (как, кстати, и сын Кончака Юрий, выдавший свою дочь за великого князя Руси Ярослава Всеволодовича).

Насколько рано и прочно была связана Русь с Азией, свидетельствует древнейшее из имеющихся западноевропей-

ских сообщений о русском государстве – сделанная в 839 году (1160 лет назад!) во франкских «анналах» запись, согласно которой правитель Руси зовется «хаканом», то есть азиатским (тюркским) титулом (каган; впоследствии этот титул имели великие князья Руси Владимир Святославич и Ярослав Мудрый).

Итак, *за восемь столетий* до того момента, когда Россия пришла за Урал, в Азию, *сама Азия* пришла на Русь и затем не раз приходила сюда в лице многих своих народов, – вплоть до монголов в XIII веке.

В связи с этим нельзя не сказать, что, как ни прискорбно, до сего дня широко распространены тенденциозные – крайне негативные – представления о существовавшей в XIII – XV веках Монгольской империи, хотя еще в конце прошлого столетия один из крупнейших востоковедов России и мира В. В. Бартольд (1869–1930) опроверг усвоенный с Запада миф об этой империи как чисто «варварской» и способной лишь к разрушительным акциям.

«Русские ученые, – констатировал Бартольд, – следуют большею частью по стопам европейских», но вопреки утверждениям последних, «монголы принесли с собой очень сильную государственную организацию... и она оказала сильное воздействие во всех областях, вошедших в состав Монгольской империи». В. В. Бартольд сетовал, что многие российские историки говорили о монголах «безусловно враждебно, отрицая у них всякую культуру, и о завоевании России мон-

голами говорили только как о варварстве и об иге варваров... Золотая Орда... была культурным государством; то же относится к государству, несколько позднее образованному монголами в Персии», которая в «монгольский» период «занимала первое место по культурной важности и стояла во главе всех стран в культурном отношении» (см. об этом подробно в моей упомянутой выше книге «История Руси...»)

Категорически негативная оценка Монгольской империи (как, впрочем, и всего «азиатского» вообще) была внедрена в Россию именно с Запада, и о причинах этого еще пойдет речь. Стоит привести здесь суждение о монголах одного из наиболее выдающихся деятелей Азии XX века – Джавахарлала Неру:

«Многие думают, что, поскольку они были кочевниками, они должны были быть варварами. Но это ошибочное представление... у них был развитый общественный уклад жизни и они обладали сложной организацией... Спокойствие и порядок установились на всем огромном протяжении Монгольской империи... Европа и Азия вступили в более тесный контакт друг с другом».

Последнее соображение Дж. Неру совершенно верно и весьма важно. Вспомним хотя бы, что европейцы впервые совершили путешествия в глубины Азии только *после* возникновения Монгольской империи, объединившей территории Азии и Восточной Европы и тем самым создавшей прочное евразийское геополитическое единство.

Правда, этого рода утверждения вызывают у многих русских людей неприятие, ибо при создании Монгольской империи Русь была *завоевана* и подверглась жестоким атакам и насилиям. Однако движение истории в целом немислимо без завоеваний. То геополитическое единство, которое называется *Западом*, складывалось, начиная с рубежа VIII–IX веков, в ходе не менее жестоких войн Карла Великого и его преемников. Созданная в результате этих войн *Священная Римская империя* впоследствии разделилась на целый ряд самостоятельных государств, но без этой Империи едва ли могла сложиться цивилизация Запада в целом, ее геополитическое единство. И чрезвычайно показательно, что впоследствии западные страны не единожды снова объединялись – в империях Карла V и Филиппа II (XVI век), или Наполеона (начало XIX).

Евразийская монгольская империя в XV веке разделилась (точно так же, как и западноевропейская) на ряд самостоятельных государств, но позднее, с конца XVI века, российские цари и императоры в той или иной мере восстанавливали евразийское единство. Точно так же, как и на Западе, это восстановление не обошлось без войн. Но в высшей степени многозначительно, что властители присоединяемых к России бывших составных частей Монгольской империи занимали высокое положение в русском государстве. Так, после присоединения в середине XVI века Казанского ханства его тогдашний правитель, потомок Чингисхана Едигер, по-

лучил титул «царя Казанского» и занимал *второе* место – после «царя всея Руси» Ивана IV – в официальной государственной иерархии. А после присоединения в конце XVI – начале XVII века монгольского *Сибирского* ханства чингизиды – сыновья всем известного хана Кучума – вошли с титулами «царевичей Сибирских» в состав российской власти.

Подобные исторические факты, к сожалению, малоизвестны, а без их знания и осмысления нельзя понять действительный характер России как *евразийской* державы, – в частности, решить вопрос о том, является ли азиатская часть России ее *колонией*.

* * *

Побывав в начале XX века в азиатской части России, британский государственный деятель Джордж Керзон, который в 1899–1905 годах правил Индией (с титулом «вице-короля»), писал: «Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой... Русский братается в полном смысле слова... Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами», к чему «англичане никогда не были способны».

По-своему замечательно это рассуждение профессионального «колонизатора». Он явно не в состоянии осознать, что народы Азии не были и не могли быть для русских ни

«чуждыми», ни «низшими», ибо, как уже говорилось, с самого начала существования государства «Русь» складывались, несмотря на те или иные военные конфликты, тесные и равноправные взаимоотношения с этими народами, – в частности имели место многочисленные супружества в среде русской и азиатской знати. Между тем люди Запада, вторгаясь в XVI – XX веках в Азию, Америку, Африку и Австралию, воспринимали «туземцев» именно как людей (вернее, «недочеловеков») «чуждых и низших рас». И целью осуществляемого странами Запада с конца XV века покорения Американского, Африканского, Австралийского и большей части Азиатского континентов было не имевшее каких-либо нравственных ограничений выкачивание материальных богатств из этих континентов.

Впрочем, достаточно широкое хождение имеют такие же толкования судьбы присоединенных к России территорий Азии. Но вот вроде бы частный, но весьма показательный факт. Двадцать с лишним лет назад я познакомился с молодым политическим деятелем Гватемалы Рафаэлем Сосой – страстным борцом против колониализма во всех его проявлениях. Он и прибыл в Москву потому, что видел в ней своего рода оплот антиколониализма. Но через некоторое время он – вероятно, после бесед с какими-либо «диссидентами» – с присущей ему прямоотой заявил мне, что обманут в своих лучших надеждах, ибо русские эксплуатируют и угнетают целый ряд азиатских народов, то есть сами являются

колонизаторами. Я пытался переубедить его, но тщетно.

Однако затем он совершил большое путешествие по СССР и, вернувшись в Москву, с той же прямотой попросил у меня *извинения*, поскольку убедился, что люди в русских «колониях» живут не хуже, а нередко и намного лучше, чем в Центральной России, между тем как уровень и качество жизни в западных «метрополиях» и зависимых от них (хотя бы только экономически) странах отличаются в громадной степени и с полной очевидностью.

Конечно, проблема колониализма имеет еще и политические, и идеологические аспекты, но тот факт, что «азиатские» крестьяне, рабочие, служащие, деятели культуры и т. д. имели (и имеют) в нашей стране не менее или даже более высокий уровень жизни, чем русские люди тех же социальных категорий^[19], говорит о заведомой несостоятельности представления об азиатских территориях России как о колониях, подобных колониям Запада, где такое положение дел немислимо.

Следует также отметить, что отношение русских к азиатским народам России предстает в кардинально более благоприятном виде, нежели отношение англичан, немцев, французов, испанцев к оказавшимся менее «сильными» народам *самой Европы*. Великобритания – это страна бриттов, но сей народ был стерт с лица земли англичанами (англами); та же судьба постигла государство пруссов, занимавшее весьма значительную часть будущей Германии (Пруссию), и много

других западноевропейских народов.

В России же были ассимилированы только некоторые финские племена, населявшие ее центральную часть (вокруг Москвы), но они не имели ни государственности, ни сколько-нибудь развитой цивилизации (в отличие от упомянутых пруссов). Правда, исчезли еще печенеги, торки, половцы^[20] и ряд других тюркских народов, но они как бы растворились в полукочевой Золотой Орде, а не из-за какого-либо воздействия русских. Около ста азиатских народов и племен, сохранившихся в течение веков на территории России (и позднее СССР), – неоспоримое доказательство национальной и религиозной терпимости, присущей евразийской державе.

В связи с этим немаловажно напомнить, что азиатские воины на протяжении веков участвовали в отражении атак на Русь-Россию с Запада. Как известно, первое мощное нападение Запада имело место еще в 1018 году, когда объединенное польско-венгерско-немецкое (саксонское) войско сумело захватить Киев. Польский князь (позднее король) Болеслав Великий совершил свой поход будто бы только с целью посадить на киевский престол своего зятя (супруга дочери) Святополка (Окаянного), которого лишил власти его сводный брат Ярослав Мудрый. Однако, войдя в Киев, захватчики ограбили его казну и увели тысячи киевлян в рабство, и, согласно сообщению «Повести временных лет», даже и сам Святополк вступил в борьбу со своими коварными «друзьями».

Польский хронист французского происхождения известный как Галл, повествуя о событиях 1018 года, счел необходимым сообщить, что в войне с армией Болеслава на стороне Руси приняли участие и азиаты – печенеги. Это вроде бы противоречит нашей летописи, ибо в ней говорится о союзе печенегов со Святополком. Но вполне возможно, что в *междоусобной* борьбе Святополка и Ярослава печенеги оказались на стороне первого; когда же началась война с врагами, пришедшими с Запада, печенеги бились именно с ними, о чем и поведал Галл, а русский летописец умолчал об этой роли печенегов, – быть может, из нежелания хоть как-либо умалить заслугу Ярослава Мудрого.

Аналогично обстоит дело с информацией о победе в 1242 году Александра Невского над вторгшимся на Русь тевтонским войском. Германский хронист Гейденштейн сообщил, что «Александр Ярославич... получивши в подмогу татарские вспомогательные войска... победил в сражении», но наша летопись об этом не сообщает.

Достоверность сведений Галла и Гейденштейна находит подтверждение в том, что во время тяжелой Ливонской войны 1558–1583 годов, когда Россия отстаивала свои исконные северо-западные границы в борьбе с немцами, поляками и шведами, в нашей армии, как это известно с полной достоверностью, весомую роль играли азиатские воины, и одно время даже командовал всей русской армией хан Касимовский чингизид Шах-Али (по-русски Шигалей).

Нельзя не сказать еще об особенной составной части населения России – *казачестве*, которое, как убедительно доказано в ряде новейших исследований, имело «смешанное» *русско-азиатское* происхождение (показательно, что само слово «казак» – тюркское). В течение долгого времени казачество находилось в достаточно сложных отношениях с российской властью, но в конечном счете стало мощным компонентом российской армии; Наполеон в 1816 году заявил: «...вся Европа через десять лет может стать казацкою...»

Правда, сие «предсказание» было необоснованным, ибо Россия никогда не имела намерения завоевать Европу, но слова Наполеона красноречиво говорят о возможностях того русско-азиатского казацкого воинства, с которым он столкнулся в России.

* * *

Редко обращают внимание на тот факт, что Запад, начиная с конца XV века, за сравнительно недолгое время и даже без особо напряженных усилий так или иначе подчинивший все континенты (Америку, Африку, большую часть Азии и Австралию), вместе с тем, несмотря на многочисленные мощные вторжения в нашу страну (первое, как сказано, состоялось в 1018 году – без малого тысячу лет назад), не смог ее покорить, хотя ее не отделяют от Запада ни океан (или хотя бы море), ни горные хребты.

В этом уместно усматривать первопричину присущей Западу *русофобии* в буквальном значении сего слова (то есть *страха* перед Россией). Русофобией проникнута, в частности, известная книга француза де Кюстина «Россия в 1839 году»^[21]. Поскольку широкое распространение получили лишь ее значительно и тенденциозно сокращенные переводы на русский язык, она считается «антирусской», всячески, мол, дискредитирующей Россию. В действительности этот весьма наблюдательный француз был (при всех возможных оговорках) потрясен *мощью* и *величием* России; в частности, на него произвел огромное впечатление тот факт, о котором шла речь выше, – создание столь могучей державы на столь северной территории Земли: «...эта людская раса... оказалась вытолкнута к самому полюсу... война со стихиями есть суровое испытание, которому Господь пожелал подвергнуть эту нацию-избранницу, дабы однажды вознести ее над многими иными».

Проницательно сказал Кюстин и о другой стороне дела: «Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть этот результат ужасающего (то есть порождающего русофобию. – В. К.) соединения европейского ума и науки с духом Азии» («русско-азиатское» казачество, как уже говорилось, «ужасало» и самого Наполеона).

Следует признать, что французский путешественник яснее и глубже понял место России в мире, чем очень многие *русские* идеологи и его времени и наших дней, считаю-

щие все «азиатское» в отечественном бытии чем-то «негативным», от которого надо освободиться, и лишь тогда, мол, Россия станет в полном смысле слова цивилизованной и культурной страной. Подобного рода представления основаны на глубоко ложном представлении о *мире в целом*, — что превосходно показал в своей книге «Европа и человечество» (1920) замечательный мыслитель и ученый Николай Трубецкой (1890–1938).

Он писал, что «европейски образованным» людям «шовинизм и космополитизм представляются... противоположностями, принципиально, в корне отличными точками зрения». И решительно возразил: «Стоит пристальнее всмотреться в шовинизм и в космополитизм, чтобы заметить, что принципиального различия между ними нет, что это... два различных аспекта одного и того же явления.

Шовинист исходит из того априорного положения, что лучшим народом в мире является именно его народ. Культура, созданная его народом, лучше, совершеннее всех остальных культур...

Космополит отрицает различия между национальностями. Если такие различия есть, они должны быть уничтожены. Цивилизованное человечество должно быть едино и иметь единую культуру... Однако посмотрим, какое содержание вкладывают космополиты в термины «цивилизация» и «цивилизованное человечество»? Под «цивилизацией» они разумеют ту культуру, которую в совместной работе

выработали романские и германские народы Европы...

Таким образом, мы видим, что та культура, которая, по мнению космополитов, должна господствовать в мире, есть культура такой же определенной этнографически-антропологической единицы, как и та единица, о господстве которой мечтает шовинист... Разница лишь в том, что шовинист берет более тесную этническую группу, чем космополит... разница только в степени, а не в принципе... теоретические основания так называемого... «космополитизма»... правильнее было бы назвать откровенно общеромано-германским шовинизмом».

Нет сомнения, что «романо-германская» цивилизация Запада, создававшаяся в своего рода оптимальных географических и геополитических условиях (о чем шла речь выше), обладает многими и очевидными преимуществами в сравнении с другими цивилизациями, в том числе и российской. Но столь же несомненны те или иные преимущества этих других цивилизаций, что, кстати сказать, признавали многие идеологи самого Запада. Правда, подчас такие признания имеют весьма своеобразный характер... Выше цитировались суждения Дж. Керзона, который правил Индией и посетовал, что в отличие от русских, «англичане никогда не были способны» добиться «верности и даже дружбы» со стороны людей «чуждых и низших рас». То есть британец усмотрел «превосходство» русских в *прагматизме* их поведения в Азии, хотя вообще-то именно Запад явно превос-

ходит своим прагматизмом другие цивилизации, и в устах западного идеолога эта «похвала» является весьма высокой. Дело в том, однако, что, как уже сказано, для русских отнюдь не характерно то восприятие людей Азии («чуждые и низшие расы»), о котором без обиняков высказался британский государственный деятель.

И вернемся теперь к размышлениям Николая Трубецкого. То, что он называет «космополитизмом», в наше время определяют чаще всего как приверженность к «общечеловеческим ценностям», но в действительности-то при этом речь идет именно и только о западных ценностях, которые обладают-де абсолютным превосходством над ценностями иных цивилизаций.

В высшей степени показательно, что Керзон истолковал отношение русских к людям Азии как выражение уникального прагматизма; ему, очевидно, представлялось просто невысказанным сложившееся за тысячелетнюю историю единство русских и «азиатов». И, заключая размышление о месте России в мире, уместно сказать, что ее *евразийское единство* в самом деле является общечеловеческой или, употребляя слово Достоевского, *всечеловеческой* ценностью, которая, будем надеяться, еще сыграет свою благотворную роль в судьбах мира.

Глава 2

Пути русского исторического самосознания

Начну с обсуждения весьма многозначительных высказываний авторитетного ученого и мыслителя В. И. Вернадского (1862–1945) о русской истории и культуре. Почему именно с его высказываний? Во-первых, потому что перед нами не историк (хотя В. И. Вернадский много занимался специфической проблемой *истории науки*), не литературовед, не культуролог, а как бы сторонний и потому имеющий особенные основания для объективности наблюдатель и судья.

В то же время В. И. Вернадский – достаточно осведомленный человек (имея в виду названные области знания) уже хотя бы в силу того, что со студенческих лет он жил и мыслил в теснейшем общении с видными деятелями исторической науки – историком России А. А. Корниловым, историком Запада И. М. Гревсом, востоковедом С. Ф. Ольденбургом, историком русской философии князем Д. И. Шаховским; все они входили в существовавший еще с 1880-х годов кружок, который называли «братством». Едва ли случайно стал историком широкого профиля и сын Владимира Ивановича – Георгий Вернадский (1887–1973; с 1920 года – в эмиграции).

Далее, В. И. Вернадский – мыслитель, который сумел в

той или иной мере стать выше искушавшей многих и многих русских людей дилеммы *западничества* и *славянофильства* (вернее, русофильства, или «почвенничества»). В принципе он тяготел к западничеству, что ясно уже из его политической деятельности: В. И. Вернадский был одним из основателей и руководителей вдохновлявшейся западноевропейскими общественными идеалами конституционно-демократической (кадетской) партии, бессменным членом ее ЦК (как и его друзья А. А. Корнилов и Д. И. Шаховской). Но в его мировоззрении со временем установилось все же определенное равновесие историко-политических образов Запада и России. Характерно, в частности, что он – в отличие, скажем, от его близкого друга Д. И. Шаховского и почти всех остальных кадетских лидеров – отказался присоединиться к масонству, которое было нераздельно связано с Западом. Любопытны строки из незаконченных воспоминаний В. И. Вернадского, продиктованных им в 1943 году: «...передавал мне Георгий (сын-историк. – В. К.), когда он занимался масонством, что его уверяли масоны, что я был членом масонской ложи. И не верили, когда Георгий это отрицал»¹.

Итак, размышления Вернадского о своеобразии русской истории (вообще-то речь у него заходит об истории русской науки, но, как ясно из дальнейшего, под этой темой лежит как необходимый фундамент тема своеобразия истории са-

¹ Шаховская А. Д. Хроника большой жизни. – В кн.: Прометей», т. 15, М., 1988, с. 44.

мой России).

В 1927 году (через год после возвращения на родину из Парижа, где он находился – по сути дела в эмиграции – с 1923 года) В. И. Вернадский в одном из своих публичных выступлений заявил, что никак нельзя «оставлять без внимания то жизненное значение, которое имеет сейчас для нашей страны и для нашего народа выявление научной мысли и творческой научной работы, проникавшей их (страны и народа. – В. К.) прошлые поколения, их былое (стоит отметить, что для 1927 года это было поистине смелое высказывание, поскольку господствовали понятия о «проклятом прошлом» России. – В. К.). Это выявление, возможно более полное и глубокое, широкий охват этим знанием всего народа имеет первостепенное значение для народного самосознания»².

Начиная с темы «научной мысли и творческой научной работы», В. И. Вернадский тут же расширяет объект внимания, придает ему, так сказать, всеобщий характер, выдвигая в качестве насущнейшей цели «осознанность народом своего бытия», то есть всей своей истории в целом. И нельзя не заметить, что «задача», выдвинутая Вернадским в 1927 году, во всем объеме и во всей остроте стоит перед нами сегодня, и в этом-то состоит самый существенный повод для напоминания о размышлениях виднейшего ученого:

«Мне кажется, что... история нашего народа представля-

² Вернадский В. И. Забытые страницы. – В кн.: «Прометей», т. 15, М., 1988, с. 133.

ет удивительные черты, как будто в такой степени небывалые (то есть, по его мнению, не имеющие места в какой-либо другой стране, кроме России. – В. К.). Совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, не видные и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя. С удивлением, как бы неожиданно для самого народа, они открываются ходом позднейшего исторического изучения.

Первой открылась взорам мыслящего человечества и осозналась нашим народом русская литература... – констатирует В. И. Вернадский. – Но великая новая русская литература вскрылась в своем значении лишь на памяти живущих людей (то есть на памяти еще живых в двадцатых годах XX века поколений. – В. К.). Пушкин выявился тем, чем он был, через несколько поколений после своего рождения. Еще в 60-х один из крупнейших знатоков истории русской литературы, академик П. П. Пекарский... Ставил вопрос, имеет ли русская литература вообще какое-нибудь мировое значение или ее история не может изучаться в одинаковом масштабе с историей великих мировых литератур и имеет местный интерес, интерес исторически второстепенный. Он решал его именно в этом смысле. Это было после Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя, в расцвет творческого выявления Толстого, Достоевского, Тургенева. Сейчас взгляд Пекарского, точно выразившего народное самосознание того времени, кажется анахронизмом. В мире – не у нас – вла-

стителем дум молодых поколений царит Достоевский; глубоко вошел в общечеловеческое миропонимание Толстой. Но мировое значение русской литературы не было осознано ее народом... Когда де Вогюэ (автор восхищенной книги «Русский роман», изданной в Париже в 1886 году. – В. К.) обратил внимание Запада, в частности сперва французского, на мировое значение русской литературы, когда началось ее вхождение в общее сознание, – именно этот факт открыл глаза и тому народу, созданием которого она является. Он понял, что он создал.

Еще более ярко это самое свойство, продолжает Вернадский, проявляется в том еще не законченном движении, которое идет сейчас в нашем народном самосознании – в понимании нашего творчества в живописи и в зодчестве... В этом проникновении в художественную старину выявилась перед нами совершенно почти забытая, во всяком случае, совершенно не осознанная полоса огромного народного художественного творчества. В русской иконописи и в связанном с ней искусстве открылось явление, длившееся столетия (от XII до XVII века), – расцвет великого художественного творчества, стоящий наряду с эпохами искусства, мировое значение которых всеми признано. Перед нашими удивленными взорами открывается великое творчество того же порядка, как и русская литература, совершенно забытое, восстанавливаемое и оживляющееся, как в эпоху Возрождения из земли возвращалось в своих остатках античное зодчество и

скульптура» (цит. соч., с. 313–314).

Итак, В. И. Вернадский усматривает «удивительные», «небывалые» черты «истории нашего народа» в том, что даже величайшие достижения осознаются с большим или же громадным (в несколько столетий!) запозданием, да еще и чуть ли не по инициативе извне, с Запада... Этот тезис о «небывалом» – то есть не свойственном ни одной стране, кроме России, – запаздывании в осознанности собственных достижений или даже необходимости «восстанавливать», «возрождать» как бы умершие, ушедшие в «землю» ценности вроде бы можно оспорить.

В. И. Вернадский сослался на, по-видимому, первый пришедший ему на ум пример – высказывания литературоведческого сподвижника Чернышевского, П. П. Пекарского (1827–1872). Но Пекарский в своем понимании места русской литературы в мировой, конечно же, опирался на суждения Белинского, который писал, например, в 1840-х годах:

«Всемирно-исторического значения русская литература никогда не имела и теперь иметь не может... И потому нам должно пока отказаться от всяких притязаний сравнивать и равнять русскую литературу с французскою, немецкою или английскою... Наша литература исполнена большого интереса, но только для нас, русских». Тогда же Белинский утверждал, что «Жорж Занд имеет большое значение и во всемирно-исторической литературе, не в одной французской, тогда как Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не

имеет *решительно никакого* (курсив Белинского. – В. К) значения во всемирно-исторической литературе и велик только в одной русской, что, следовательно, имя Жорж Занда безусловно может входить в реестр имен европейских поэтов, тогда как помещение рядом имен Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет и приличие и здравый смысл...»

Поскольку Белинский для нескольких поколений русских людей был непререкаемым авторитетом, его приговоры могут рассматриваться как доподлинное выражение «национального самосознания». Однако ведь само это рассуждение Белинского о Гоголе являло собой, как известно, острополюмический ответ на посвященную Гоголю статью славянофила Константина Аксакова и, следовательно, уже в 1840-х годах высшая ценность творчества Гоголя так или иначе осознавалась в России (ныне всемирное признание этого творчества очевидно).

Вернадский отметил, что «новая русская литература вскрылась в своем значении лишь на памяти живущих людей (он, несомненно, имеет здесь в виду и самого себя. – В. К.). Пушкин выявился тем, чем он был, через несколько поколений после своего рождения». Вероятнее всего, Вернадский считал решающим моментом этого «выявления» согласно воспринятую самыми разными людьми Пушкинскую речь Достоевского, прозвучавшую в 1880 году, когда самому Вернадскому было восемнадцать лет.

Но уместно напомнить, что еще в 1827 году (когда Белин-

ский был пензенским гимназистом), сразу после появления в печати сцены («Ночь. Келья в Чудовом монастыре») из «Бориса Годунова» – одного из первых подлинно зрелых пушкинских творений, – Дмитрий Веневитинов писал:

«Эта сцена, поразительная по своей простоте и энергии, может быть смело поставлена наряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и Гете». С явлением же творения в целом «не только русская литература сделает бессмертное приобретение, но летописи трагической музы обогатятся образцовым произведением, которое станет наряду со всем, что только есть прекраснейшего в этом роде на языках древних и новых».

Мнение Веневитинова безусловно разделяли и другие «любомудры» – братья Киреевские, Владимир Одоевский, Погодин, Тютчев, стремившийся определить в 1836 году, «отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами» (среди коих числились тогда ни много ни мало Мюссе, Ламартин, Альфред де Виньи, Беранже, Жерар де Нерваль, Барбье и сам Гюго...). Впрочем, еще в 1831 году крупнейший тогда русский мыслитель Чаадаев сказал о Пушкине: «... вот, наконец, явился наш Дант».

Словом, есть вроде бы основания усомниться в правоте Вернадского, утверждавшего, что в России «совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, не видные и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя».

Вернадский, в частности, выразил удивление по поводу того, что «в расцвет творческого выявления Толстого» Печкарский (и, конечно, вовсе не только он) продолжал полагать, что русская литература не имеет никакого мирового значения и «ее история не может изучаться в одинаковом масштабе с историей великих мировых литератур». Но ведь именно в то самое время, сразу же после завершения печатания «Войны и мира», Николай Страхов, подводя итог своим глубоко содержательным размышлениям о толстовской эпопее, совершенно верно утверждал, что она «принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только знаем и можем вообразить. Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего...» То есть современник, даже прямой ровесник Толстого, дал оценку, которая теперь является общепринятой!

И все же... все же Вернадский был по-своему прав. Ибо ясно, что высказывания и оценки любомудров, славянофилов или «почвенников» (к которым принадлежал Страхов) не имели и сотой или, пожалуй, даже тысячной доли того общественного резонанса, каковым обладали суждения «прогрессивных» критиков и публицистов – Белинского, Чернышевского, Михайловского и т. д. Резко «сниженные» или попросту уничтожающие отзывы о «Войне и мире» в статьях таких влиятельнейших тогда авторов, как Писарев, Шелгунов, Берви-Флеровский, Зайцев, Минаев и др., совершенно

заглушили голос Страхова... Едва ли расслышал его и сам достаточно чуткий Вернадский! И потребовалась позднейшая «поддержка» из-за рубежа (в частности, того же де Вогюэ, которого упоминает Вернадский), чтобы «Война и мир» получила в России действительное признание.

Эта своего рода закономерность развития русского культурного самосознания была уяснена давным-давно. Еще в 1839 году Иван Киреевский, размышляя о духовных ценностях русского Православия, утверждал:

«Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей Церкви, и написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу Церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем».

В 1846 году Чаадаев, стремясь обратить внимание русских читателей на весьма ценное в его глазах сочинение Хомякова, сам переводит его на французский язык и отправляет перевод своему парижскому знакомцу графу де Сиркуру: «...берусь за перо, чтобы просить вас пристроить в печати статью нашего друга Хомякова... наилучший способ заставить нашу публику ценить произведения отечественной литературы – это делать их достоянием широких кругов ев-

ропейского общества. Как ни склонны мы уже теперь доверять нашему собственному суждению, все-таки среди нас еще преобладает старая привычка руководствоваться мнением вашей публики» (стоит отметить, что и в наше время, например, широкое признание трудов М. М. Бахтина в России совершилось лишь после высшей оценки их на Западе)³.

Таким образом, Вернадский в более обобщенном виде сказал о том, о чем русские мыслители говорили еще столетием ранее. Но размышление Вернадского приводит к очень существенному итогу, которого я еще не касался.

* * *

Говоря об «открытии» средневековой русской иконописи и зодчества, Вернадский утверждает: «Это древнее русское искусство, как сейчас ясно видно, могло возникнуть и существовать только при том условии, что оно было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа, с его высокими настроениями и исканиями правды. И совершенно ясно, что его (древнерусского искусства. – В. К.) осознание есть сейчас факт крупнейшего зна-

³ Отмечу, что автор этой книги, нередко причисляемый к «последователям славынофилов», еще в 1960 году писал о «всемирном значении» бахтинской мысли (см. об этом: «Литературная учеба», 1992, № 5–6, с. 144–145), но это убеждение стало в России широким достоянием лишь после признания М. М. Бахтина на Западе в 1980-х гг.

чения в жизни нашего народа.

Сейчас, мне кажется, мы подходим к новому явлению того же характера. Начинает вырисовываться неосознанная новая сторона нашей вековой духовной работы – работы русского народа и Русского государства в научном творчестве. Настала пора его выяснения... Что, научная работа русского народа является малозаметным явлением в росте знания человечества? Что, русская мысль теряется в мировой работе? Или гений нашей страны и здесь, как и в художественном отражении нас окружающего, выявил новое, богатое, незаменимое, единственное» (цит. соч., с. 314).

И Вернадский сетует, что «нами обычно забывается связь отечественной науки с той вековой работой, которую совершили русские землепроходцы открытием северной Азии, северных морей и пролива, отделяющего Евразию от Америки. Несомненно, эта работа старых веков, XV–XVII, была по своим научным последствиям столь же высокой важности научным достижением, как то раскрытие карты мира, какое совершено было моряками Запада XIV–XVIII столетий» (цит. соч., с. 314–315).

В высшей степени важно обратить сугубое внимание на тот факт, что Вернадский подчеркнуто ставит и иконопись, и «научную работу» в нераздельную связь со всей *цельностью* истории русского народа, укореняет художественное и научное творчество во всей полноте *народно-исторического бытия* России. Разумеется, это всецело относится и к русскому

словесному творчеству.

И все это имеет глубокий и острейший смысл. В силу ряда причин (о них еще пойдет речь) русская литература как бы выделена в общественном сознании (во всяком случае, в представлениях большинства людей) в некую замкнутую сферу, словно бы даже самодовлеющий мир, *возвышающийся* над русской жизнью как таковой, над отечественной историей в ее реальной земной полноте.

Я отнюдь не считаю, что русская литература, – как и культура в целом, – есть прямое «отражение» или «воспроизведение» русской жизни; такой подход к делу – это прежде всего упрощенное, примитивизирующее истолкование культуры. Гораздо более верно понятие о творениях культуры (и, конечно, литературы) как о *плодах* – своего рода «последних», высших достижениях исторического творчества, плодах, которые, в частности, вовсе не обязаны быть «похожими» на свои жизненные корни. И, представляя собой *порождения* истории, творения культуры сами естественно становятся феноменами истории; трудно спорить с тем, что, скажем, былины об Илье Муромце, рублевская Троица, архитектурный мир Московского Кремля, «Жизнь за Царя» Глинки, толстовская «Война и мир» или лирика Есенина – это, без сомнения, реальные факты, *события* русской истории, прямо и непосредственно *участвующие* в ней.

В то же время они, конечно, представляют собой именно *порождения* этой истории, принципиально не могущие со-

держат в себе ничего такого, чего не было бы в самой истории. А между тем господствует мнение, согласно которому в России была, дескать, *только* великая, безмерно богатая и полная смысла литература (и, отчасти, культура вообще). Это выражено, например, в известном всем и каждому тургеневском стихотворении в прозе 1882 года «Русский язык» (в понятие «язык» здесь, безусловно, включена литература):

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! – Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? – Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Итак, в России *только слово* несет в себе несомненное величие, а все, что «совершается» в ней, то есть ее целостное бытие, способно вызвать лишь «отчаяние»...

Это в конце концов попросту *странное* представление (оно ведь неизбежно подразумевает, что словесное инобытие России в творениях Пушкина, Тютчева, Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова как бы не имеет непосредственного отношения к порождающему чувство «отчаяния» русскому бытию) все же прочно внедрилось в сознание множества людей и особенно «расцвело» после 1917 года. Так, Луначарский писал в 1924 году, что-де «почти у всякой русской писательской могилы» (далее перечислялись многие имена от Радищева до Толстого) «можно провозгласить страшную

революционную анафему против старой России, ибо всех их она... обузила, обгрызла, завела не на ту дорогу. Если же все же они остались великими, то *вопреки* этой проклятой старой России, и все, что в них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, все это дала им она».

Эта, так сказать, экстремистски «идеалистическая» позиция (все наиболее существенное и ценное русские классики «взяли», оказывается, из своего собственного сознания, а не из русского бытия) является, по сути дела, господствующей, – и не только по отношению к литературе. Так, в непомерно превозносимом множестве критиков кинофильме А. Тарковского «Андрей Рублев» (по моему убеждению, посредственном и, в частности, невыносимо скучном) творчество гениального иконописца никак не соотносено с русской жизнью его времени, – даже напротив. Хотя еще в 1927 году Вернадский (его слова уже приводились) с полным основанием говорил: «Это древнее русское искусство, как сейчас ясно видно, могло возникнуть и существовать только при условии, что оно было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа, с его высокими настроениями и исканиями правды».

«Отрыв» этого искусства от самой жизни русского народа принимал нередко и поистине курьезные формы. Так, в 1939 году бывший в свое время управляющим делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич вспоминал о том, как в 1918 году производилась реставрация Успенского собора в Крем-

ле: «Владимир Ильич часто заглядывал в собор, – свидетельствовал исполнявший тогда обязанности гида Бонч-Бруевич, считавшийся, между прочим, крупным ученым, – внимательно рассматривал великолепные фрески и изображения старой итальянской живописи XV–XVI веков, которые обнаруживались после смывания мест, закрашенных различными нашими богомазами».

Как ныне хорошо известно, в основу фресок Успенского собора легла работа великого русского «иконника» Дιονисия и его школы. Но при господствовавшем до самого последнего времени отношении к древнерусской культуре в это как бы невозможно было поверить. И Ленин, конечно, был убежден, что рассматривает образцы *итальянского* искусства...

* * *

Итак, в размышлениях Вернадского выявлены две характернейшие черты (можно бы и сказать: два характернейших «греха»), присущие освоению русских литературных, художественных, научных и вообще культурных ценностей: очевидное и нередко разительное «запаздывание» в их понимании и оценке и, во-вторых, более или менее решительное отделение, отрыв этих ценностей от цельного исторического бытия России (в противовес этому Вернадский утверждает, например, что русскую науку о мире начали создавать сво-

им историческим, жизненным творчеством «землепроходцы» XV–XVII веков).

Целесообразно сразу же попытаться объяснить или, вернее, наметить пути объяснения этих «грехов», – хотя в определенном смысле именно такова задача книги в целом. Но заранее данные – пусть и эскизные – объяснения будут, как мне представляется, облегчать восприятие книги, которая во многих своих аспектах не совпадает с наиболее распространенными представлениями об истории России и русской литературы.

Тот факт, что (пользуясь определениями Вернадского) «огромный духовный рост, духовное творчество» как бы не замечаются и не осознаются «долгими поколениями спустя», обусловлен – хотя это, о чем еще пойдет речь, не единственная причина – своего рода *прерывистостью* русской истории. В настоящее время развивается, скажем, точка зрения – прежде всего в трудах Л. Н. Гумилева, – согласно которой история России в ее современном значении началась лишь к концу XIV века, а в основе *домонгольской* Руси лежала, по существу, деятельность иного этноса – иного по целому ряду существенных своих «параметров».

Подобное представление намечено – по-видимому, независимо от Л. Н. Гумилева – и в работах Д. С. Лихачева. Одна из глав его книги «Развитие русской литературы X – XVII веков» (Л., 1973) называется так: «Обращение к «своей античности». «Вторая половина XIV – начало XV вв. характе-

ризируются повышенным интересом к домонгольской культуре Руси, к старому Киеву, старому Владимиру и Суздалью, к старому Новгороду... – утверждает Д. С. Лихачев. – Обращение поднимающейся Москвы... к киевской, владимирской и новгородской древности соответствовало обращению Запада к классическим источникам» (с. 116, 118), – то есть к древним Греции и Риму.

Хотел или не хотел этого автор (а он приводит, кстати сказать, многочисленные примеры «возрождения» домонгольской русской культуры в XIV–XV веках), но мысль его, исходящая из «соответствия» Возрождения на Руси и на Западе, неизбежно имеет и такой оттенок: до монгольского нашествия на Руси была совсем *иная* культура. Ибо *возрождение* есть с необходимостью новое *рождение*, а не «обычное» поступательное развитие одного и того же культурного организма.

И действительно, для понимания истории культуры (и литературы) России вполне уместна идея новых рождений, или, иначе, *воскрешений*. Причем речь должна идти вовсе не только об эпохе после монгольского нашествия. Еще уместнее говорить, например, о воскрешении средневековой русской культуры в XIX – начале XX века – после эпохи Петра Великого и его преемников.

Вернадский-сын писал (между прочим, в том же самом 1927 году, когда произнес цитированную выше речь его отец) в своем «Начертании русской истории», изданном в

Праге, что к последней трети XVIII века «было уничтожено четыре пятых русских монастырей (разрядка Г. В. Вернадского. – В. К.)... Из 732 мужских монастырей (не считая юго-западного края) *оставлено* 161; из 222 женских – всего 39...^[221] Это был сокрушительный удар по всей исторической системе религиознонравственного воспитания русского народа... Роль суррогата Церкви в дворянском (отчасти в купеческом) обществе времен Екатерины стали играть масонские ложи...» (с. 196–197; между прочим, Г. В. Вернадский начал свою научную деятельность с углубленного изучения русского масонства).

Но дело шло вовсе не только о монастырях. С 1768 года выдающийся архитектор и не менее выдающийся масон, полномочный посредник в сношениях вождя масонов Н. И. Новикова с наследником престола великим князем Павлом Петровичем, В. И. Баженов создает, по его собственному определению, «проект Кремлевской *перестройки*», которая ставит целью «обновить вид сего древностью обветшалою и нестройного града»⁴. К 1773 году стена и башни Московского Кремля, расположенные вдоль Москвы-реки, были уничтожены, и состоялась торжественная закладка нового, «совершенного» дворца, своего рода масонского храма, который должен был, в частности, заслонить и затмить «нестройные» остатки Кремля...

⁴ Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади. – М., 1982, с. 291.

Однако вскоре из-за прорыва глубокого рва для дворцового фундамента дал трещины Архангельский собор – усыпальница великих князей и царей, начиная с Ивана Калиты. Это показалось чрезмерным, работы были по распоряжению Екатерины II остановлены, а затем в течение десяти лет заново возведены снесенные стена и башни Кремля (на память остался ясно видный и теперь *шов* в кремлевской стене, возникший из-за того, что восстановление стены шло с двух концов).

Но принципиально новое представление о ценностях культуры еще долго владело умами и душами людей. Не кто иной, как Николай Михайлович Карамзин (который еще в 1784 году, восемнадцатилетним юношей, стал членом масонской «Ложы Златого Венца»⁵) писал в 1803 году на страницах влиятельнейшего тогда журнала: «Иногда думаю, где быть у нас гульбищу, достойному столицы, и не нахожу ничего лучшего берега Москвы-реки между каменным и деревянным мостом, если бы можно было там сломать кремлевскую стену... Кремлевская стена нимало не весела для глаз»⁶.

Да, это написал тридцатисемилетний Карамзин – к тому же в том самом году, когда Александр I издал указ о его назначении *историографом*. Но серьезнейшее изучение отече-

⁵ См.: Пыпин А. Н. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. Под редакцией Г. В. Вернадского. – П., 1916, с. 516.

⁶ Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя. – «Вестник Европы», 1803, № 13, с. 280.

ственной истории и Отечественная война сделали свое дело, и в созданном именно в 1812 году (а изданном в 1816-м) VI томе своей «Истории государства Российского» Карамзин утверждал:

«Величественные кремлевские стены и башни равномерно воздвигнуты Иоанном... Таким образом Иоанн украсил, укрепил Москву, оставив Кремль долговечным памятником своего царствования, едва ли ни превосходнейшим в сравнении со всеми иными европейскими зданиями пятого-надесять века (XV в. – В. К.)».

А ведь менее чем полстолетия назад Баженов на треть уничтожил Кремль, и всего девятью годами ранее сам Карамзин выражал желание сделать еще раз то же самое...

Или еще один, более поздний пример: в 1823 году Иван Киреевский был одним из создателей построенного по образцу масонской ложи «Общества любомудрия», а всего через полтора десятилетия он в поисках истины приходит к прямому продолжателю древнерусской духовной традиции старцу Оптиной пустыни Макарию. Это было своего рода показателем полного воскрешения того, что отвергла петровская эпоха и что продолжали отвергать в течение всего XVIII столетия и начала XIX в. (необходимо учитывать, что воскрешение совершилось незадолго до того и в самой Оптиной пустыни, где восстановилась – после длительного перерыва – древняя традиция *старчества*. См. об этом: Криволапов В. Н. Оптина пустынь: ее герои и тысячелетние тради-

ции. — «Писатель и время», вып. 6-й, М., 1991, с. 373–423).

Прежде чем двинуться дальше, необходимо хотя бы кратко высказать свое отношение к тому отвержению допетровской русской культуры (вплоть до закрытия почти 80 процентов монастырей!), которое совершилось в XVIII веке. Сегодня едва ли не большинство из тех, кто касается данной темы, оценивает это отвержение всецело «негативно». Причем речь идет вовсе не только об авторах, как говорится, «охранительно-славянофильского» умонастроения; так, например, в книге модного ныне стихотворца заостренно либерального толка Б. Чичибабина на Петра Великого обрушены безоговорочные проклятья:

Будь проклят, ратник сатаны,
Смотритель каменной мертвецкой,
Кто от нелепицы стрелецкой
Натряс в немецкие штаны.
Будь проклят, нравственный урод,
Ревнитель дел, громада плоти!..
Будь проклят тот, кто проклял Русь —
Сию морозную Элладу!

И как единственное утешение:

А Русь ушла с лица земли,
В тайнохранительные срубы...

Может показаться, что эта «позиция» имеет свое существенное обоснование и оправдание, ибо ведь в эпоху Петра было немало людей, воспринимавших императора как антихриста, а само его время как в прямом смысле слова апокалиптическое. И автор, кстати сказать, смягчает реальное историческое противостояние, говоря о «*нелепице*» стрелецкой: ведь буйные стрелецкие, казачьи и раскольничьи бунты при Петре продолжались в течение нескольких десятилетий.

Однако у людей, чьи жизненные устои рушила эпоха Петра, было действительное и несомненное *право* начисто отрицать ее: трагедия стрельцов, рельефно воссозданная в суриковском полотне, – это подлинная *трагедия*. А в трагедии, как убедительно доказывал Гегель, правы обе борющиеся не на жизнь, а на смерть стороны. Между тем историческая оценка Петровской эпохи дана, думается, *навсегда* самим Пушкиным, который не упускал из виду фигуру Петра на протяжении всего своего творческого пути.

И нынешнее проклятье по адресу Петра, если оно честно и последовательно, должно сопровождаться отрицанием одной из незыблемых основ *пушкинского* исторического мышления, которое, между прочим, являет высший образец *объективности*; «утверждение» и «отрицание» Петра здесь гениально уравновешены. Это подлинное осознание смысла эпохи, а не ее «критика» во имя тех или иных «идеалов» – нравственных, политических, социальных и т. п. (о засилье подобной «критики» и в историографии, и в, так сказать, бы-

товых представлениях о русской истории еще пойдет речь). Этого рода «критика» нередко закономерно сочетается со столь же поверхностной идеализацией других исторических явлений. То есть на основе поверхностного, легковесного отношения к истории одно в ней подвергается бездумной хуле, а другое – столь же бездумной хвале. Так, например, тот же Б. Чичибабин, начисто презрев глубокое пушкинское осмысление фигуры Петра, вместе с тем в 1988 году безо всяких оснований «привлек» Пушкина к своему легковесному воспеванию другого исторического деятеля:

В наши сны деревенские и городские
Пробираются мраки со дна —
Только Пушкин один да один у России,
Как Россия на свете одна.

А ведь разумом Пушкин-то с Лениным сходен,
Словно свет их один породил,
И чем больше мы связи меж ними находим,
Тем светлее заря впереди⁷.

Такая стихотворная «историософия» (я говорю о стихах и о Петре, и о Пушкине с Лениным), да еще в сочинениях автора, увенчанного в 1990 году высшей премией, способна внести прискорбнейшую сумятицу в сознание людей. А ведь сочинения подобного рода появляются в последнее вре-

⁷ Чичибабин Борис. Клянусь на знамени. – «Лит. Россия», 1988, 14 окт., с. 5.

мя чуть ли не ежедневно...

* * *

Выше закономерно возникла тема масонства, ибо в его рамках во многом складывалось и развивалось новое, *послепетровское* сознание. И опять-таки приходится сказать, что русское масонство сегодня рассматривается многими как заведомо негативное или даже попросту чудовищное явление.

Нет сомнения, что в истории масонства второй половины XVIII – первой четверти XIX века (русское масонство XX века – это совсем иное явление, и прежде всего чисто «политическое») были безусловно «темные» стороны – «темные», в частности, и в смысле своей до сих пор неясной направленности, – например, полная подчиненность иных русских масонов, начиная с Новикова, зарубежным масонским организациям. Но, с другой стороны, уже сам факт, что на рубеже XVIII–XIX веков через масонство прошли не только упомянутый Карамзин, но и такие люди, как Кутузов и Сперанский, Грибоедов и Чаадаев, и, наконец, сам Пушкин, побуждает серьезно задуматься о причинах этого устремления.

Разгадка, надо думать, в том, что в конце XVIII – начале XIX века личность – в том числе личность государственного деятеля и деятеля культуры – для своего окончательного становления еще нуждалась в особенной *структуре* человеческих отношений, принципиально отличающейся от струк-

туры государственно-сословной и церковной.

Известен выразительный эпизод, изложенный виднейшим современным историком русского масонства так: «... в 1817 или 1818 году Александр I посетил ложу «Трех добродетелей», наместным мастером которой был будущий декабрист А. Н. Муравьев. В разговоре... Муравьев... назвал Александра I по обычаю ложи на «ты». Это очень не понравилось царю»⁸. Но это, без сомнения, очень понравилось тем уже высокоразвитым личностям, которые считали нужным войти в масонство. И здесь, полагаю, один из важнейших ответов на вопрос, почему Грибоедов или Пушкин не отказались стать масонами.

С этой точки зрения своего рода «масонский» период в истории русской культуры (вторая половина XVIII – первая четверть XIX века) вполне понятен и закономерен. И есть, так сказать, естественная диалектика в том, что уже упомянутый Иван Киреевский *должен был* пройти через стадию масонообразного «Общества любомудрия», чтобы затем «вернуться» в Оптину пустынь – вернуться не под воздействием лежащего вне его личности обычая, традиции, канона (в среде образованных людей эти внешние устои Православия в послепетровские времена были во многом разрушены), но по зову, исходящему из глубины самой его личности.

⁸ Старцев В. И. Масонство в России. – В кн.: За кулисами видимой власти, М., 1984, с. 83.

В связи с темой масонства уместно сделать краткое отступление, или разъяснение, так как, вполне возможно, найдется немало людей, которым придет в голову мысль, что я придаю русскому масонству слишком большое значение. Но, поверьте, такая мысль может возникнуть только от *незнания* реального положения дел. Масонство – принципиально «тайное» и к тому же мало изучавшееся в России явление. Роль же его была очень велика.

Приведу чисто личные, но, как представляется, многозначительные «примеры». Я родился, затем учился, наконец, стал служить в трех (последовательно) московских зданиях по адресам: Большая Молчановка, дом 5 (теперь – Новый Арбат, 7), Моховая, 11, и Поварская, 25, в которых помещались соответственно родильный дом, Московский университет и Институт мировой литературы Академии наук. Все эти здания, слава богу, сохранились, и можно посмотреть на их фасады и разглядеть на них ясную *масонскую* эмблематику.

Обусловлено это, несомненно, тем, что здание университета было воздвигнуто (в 1780–1793 годах) под руководством его директора – виднейшего масона М. М. Хераскова, а особняк, в котором впоследствии разместился Институт мировой литературы, строился (закончен в 1829 году) для масона князя С. С. Гагарина; что же касается построенного в 1914 году (во время нового подъема масонства) дома, где я в 1930 году родился, мне не удалось точно выяснить, кто его заказывал и строил...

Могут сказать, что эти три факта недостаточно «представительны». Но все же вдумаясь: все три дома, сыгравшие «главную роль» в жизни одного москвича, оказываются связанными с масонством! Исходя из элементарных соображений «вероятности», придется признать, что масонство – очень широкое и влиятельное явление московской истории XVIII–XX веков...

Но вернемся к нашей основной теме.

* * *

Итак, одна из главных причин той – подчас очень длительной – недооценки явлений отечественной культуры, о которой так горячо говорил В. И. Вернадский, – чрезвычайно резкие и всесторонние перевороты в истории и, соответственно, в истории культуры, присущие России. Русская культура не раз как бы умирает и лишь гораздо позднее воскресает заново. Еще в 1830 году Пушкин писал: «...старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь и на ней возвышается единственный памятник: «Песнь о полку Игореве». Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии...» Стоит заметить, что всего тридцатью годами ранее нельзя было бы назвать и этот «единственный памятник», ибо он еще не был открыт заново...

Но многое в России происходит поистине стремительно, и через каких-нибудь два десятилетия Пушкин уже не мог бы

так говорить, поскольку целая плеяда исследователей и просто любителей российской словесности (в основном из круга славянофилов) открыла в «темной степи» (характерна в данном случае пушкинская чуткость: он сказал не о «пустыне», а о «темной степи», где трудны, но все же возможны «находки») допетровских времен неслыханные богатства словесности. Ныне же изданы, например, двенадцать объемистых томов серии «Памятники литературы Древней Руси» – и это только небольшая доля созданного и лишь меньшая часть сохранившегося до наших дней (в двенадцатитомнике нет, скажем, ни «Толковой Палеи», ни «Просветителя» Иосифа Волоцкого, ни «Степенной книги»⁹).

Вполне очевидно, что весь этот «сюжет» предельно актуален, ибо за последние годы происходит вполне аналогичное воскрешение культурных ценностей, как бы «умерших» после 1917-го... Таким образом, «запоздания», о коих говорил Вернадский, имеют свои существеннейшие причины.

Вернадский сказал (эти слова уже приводились), что древнерусское искусство явилось перед людьми его поколения «совершенно забытое, восстанавливаемое и оживляющееся (то есть воскресающее. – В. К.), как в эпоху Возрождения из земли возвращались в своих остатках античное зодчество и скульптура». Это действительно так, но нельзя не заострить внимания на одном способном поразить воображение отличии: ведь в эпоху Возрождения дело шло об искусстве *чужих*

⁹ Это наиболее крупные творения древнерусского Слова.

(и давно переставших существовать) народов Эллады и Рима, а у нас – об искусстве собственного народа... Вот оно – «небывалое» и несущее в себе глубоко драматический, даже трагедийный смысл своеобразие русской культуры... Она не раз умирает, но умирает, чтобы воскреснуть и, значит (об этом также не следует забывать!), явиться в новорожденном обаянии...

И поэтому, в частности, ложна всецело негативная оценка того же петровского (и послепетровского) «отрицания» предшествующей культуры. В этом – *своеобразие* истории России и ее культуры, а не просто некое «безобразие», как утверждали и утверждают многие авторы...

Нисколько не менее важен другой аспект проблемы, намеченный В. И. Вернадским, – недооценка или даже прямое отвержение нераздельной связи культуры (и, конечно, литературы) с историей русского народа. Вернадский настаивает, например, на том, что великое искусство иконописи «было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа» и что даже любой из создателей русской научной картины мира «теснейшим образом связан с той вековой работой, которую совершили русские землепроходцы», начиная со стародавних времен.

Творения русской культуры – органические плоды истории России, – таков исходный тезис. Решусь утверждать – вслед за В. И. Вернадским, – что эта проблема (культура как порождение истории России), казалось бы, достаточно яс-

ная, изучена и тем более понята совершенно недостаточно. И дело здесь не только в выявлении того, как народно-историческое бытие «превращается», кристаллизуется в творения культуры (которые, о чем уже шла речь, не столько «отражения», «воспроизведения», сколько плоды истории, или, иначе, ее высший цвет). Дело и в том, что само имеющееся налицо научное освоение русской истории в силу целого ряда причин не способствует решению поставленной проблемы. Так, наиболее известные курсы истории России – это в самой своей основе «критические» или даже заостренно «критицистские» курсы, далекие от объективного понимания и толкования.

В недавней обращенной к широкому читателю книге о С. М. Соловьеве его двадцатидевятитомная «История России с древнейших времен» оценена так: «...он создал наиболее полную, цельную и... наиболее обоснованную концепцию истории России, ставшую вершиной... историографии»¹⁰.

Но есть и совсем другая оценка (разумеется, даже и не упомянутая в только что цитированной книге). Окончив «Войну и мир», Толстой взялся – уже не в первый раз – за чтение изданных к этому времени томов «Истории...» Соловьева и написал 4–5 апреля 1870 года в своем дневнике следующее:

«Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было

¹⁰ Иллерицкий В. Е. Сергей Михайлович Соловьев. – М., 1980, с. 175.

безобразия в допетровской России: жестокость, грабеж, праж, грубость, глупость, неумение ничего сделать... Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.

Но как же так ряд безобразий произвели великое единое государство?

Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли?.. Кто и как кормил хлебом весь этот народ?.. Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции или Польше?..

История хочет описать жизнь народа – миллионов людей. Но тот, кто... понял период жизни не только народа, но человека... тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни... нужна любовь.

Любви нет и не нужно, говорят. Напротив, нужно доказывать прогресс, что прежде все было хуже...»

Вопросы, которые как бы ставит перед Соловьевым, да и большинством историков России Толстой (важно напомнить, что Толстой отнюдь не принадлежал к пристрастным «русософилам» и догматическим патриотам), можно бы до

бесконечности множить. Как совместить, например, представленное в их сочинениях сплошное «безобразие» русской истории с такими ее плодами, как «Слово о законе и Благодати» Илариона, храм Покрова на Нерли, «Предание» Нила Сорского, фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре и т. п.?

Толстой выявляет один из главнейших и поистине тиранических «стимулов», руководивших множеством историков России, – идею «прогресса» – едва ли не самую популярную и едва ли не самую легковесную из «идей» XVIII–XX веков. Историки не столько изучают историю, сколько *судят* или, вернее, даже *осуждают* ее в свете этой «идеи». К тому же идея эта, если можно так выразиться, оказывается предельно беспринципной.

Так, характеризуя эпоху конца XI – начала XIII веков, Русь беспощадно судят за «феодальную раздробленность», а переходя ко времени конца XV–XVI века, те же самые историки проклинаяют «деспотизм» российского единовластия. А между тем совершенно, казалось бы, бесспорно, что без этой самой «раздробленности» не могла бы создаться самобытная жизнь и культура Новгорода, Пскова, Твери, Ростова, Рязани и т. д., а без «единовластия» все это многообразное богатство не смогло бы слиться в великую общерусскую жизнь и культуру. И, между прочим, эта историческая «диалектика» (единое государство – раздробленность – новое единство и, как правило, «деспотическое») присуща истории *всех* ос-

новных стран Западной Европы, а вовсе не одной России...

Толстой говорит, что для познания истории нужна «любовь». Это звучит вроде бы совсем «ненаучно». Но если под этим понимать *приятие* тех или иных периодов и явлений русской истории такими, каковы они есть, толстовское слово вполне уместно. Известно превосходное пушкинское требование: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным», – то есть принимать его творение в его реальном своеобразии. Это, в сущности, применимо и к исторической эпохе, тем более что Пушкин не раз сближал драму (где «автора» как бы и нет, а есть только поступки и высказывания героев) с «драмой» самой истории и, естественно, с воссозданием этой «драмы» в сочинении историка. Он писал о «падении Новгорода» в противоборстве с Москвой в XVI веке:

«Драматический поэт, беспристрастный, как судьба, должен был изобразить... отпор погибающей вольности как глубоко продуманный удар, утвердивший Россию на ее огромном основании. Он не должен был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, но *люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине*» (выделено мною. – В. К.).

В этом рассуждении Пушкина вполне уместно будет за-

менить «драматического поэта» историком. И та «любовь», о которой как о необходимом качестве историка писал Толстой, – это любовь, или, скажем более нейтрально, *приятие* не Москвы и не Новгорода (тут-то как раз требуется «беспристрастие» в отношении борющихся и имеющих каждая свою *правоту* сил), а приятие самой великой *драмы* (или даже трагедии) Истории.

Пушкин и как художник, и как историк обладал этой чертой в высшей степени. В «Борисе Годунове» беспристрастно воссозданы и Борис, и Григорий Отрепьев, и все остальные; столь же беспристрастен Пушкин (о чем уже сказано) и в художественном, и в собственно историографическом воссоздании Петра и его непримиримых врагов.

О несравненном, в сущности уникальном даре и умении Пушкина точно говорит посвятивший свою жизнь познанию его наследия В. С. Непомнящий, исходящий, по его определению, из «фундаментального, основополагающего качества мироощущения Пушкина, а именно: для него *бытие есть безусловное единство и абсолютная целостность*, в которой нет ничего «отдельного», «лишнего» и самозаконного – такого, что нужно было бы для «улучшения» бытия отрезать и выбросить... Смерти и убийства, измены, предательства, виселицы и яд, трагические разлуки любящих, бушевание разрушительных природных и душевных стихий, крушение судеб, холодность и эгоизм, смертоносное могущество мелких предрассудков и низменных устремлений – все это

буквально наводняет и переполняет мир Пушкина... Почему, невзирая на весь трагизм этого мира, мы обращаемся к Пушкину вовсе не как к «трагическому гению», а как гению света, рыцарю Жизни?..»

Суть в том, подводит итог В. С. Непомнящий, что Пушкин «именно «во всей истине»... «воскрешает» изображаемые события.

Во всей истине...

Если у большинства из нас роль точки отсчета играет какая-то часть истины, понятная нам и устраивающая нас, то у Пушкина такой точкой отсчета является «вся истина», вся правда, целиком, никому из людей, в том числе и автору, персонально не принадлежащая и не могущая принадлежать. Эта «вся истина» и есть солнце пушкинского мира, и вот почему, будучи полным сумрака и зла, он так светел и солнечен. Ведь правда, полная правда дает ясность, то есть верное представление о реальном порядке и реальной связи вещей... Без такого представления... невозможна *полная жизнь*, в которой человеческий дух только и может находить радость. Мир Пушкина светел потому, что это не хаос, из которого можно извлечь любые комбинации элементов, вызывающие ужас или ненависть, тоску или отрицание ценностей, ощущение бессмыслицы и безнадежности, желание «все утопить» («Сцена из Фауста») или все перекроить по-своему... (а именно так и подается история России в массе сочинений! – В. К); мир Пушкина – это в своем изначальном

существо космос... в котором все неслучайно, все неспроста, все осмыслено и по сути своей прекрасно...»¹¹

Это относится, конечно, вовсе не только к художественным творениям Пушкина, но и ко всему его наследию – в том числе и собственно историографическим сочинениям и заметкам. Но пушкинская традиция, увы, почти не продолжена. В исторических трудах о России весьма редко встречается это «беспристрастие», это приятие истории как она совершалась; выше шла речь о типичных нынешних «проклятьях» по адресу Петра или масонства рубежа XVIII–XIX веков (и это, понятно, только два частных «примера»).

И потому, ставя перед собой цель «вывести» русскую литературу из истории, показать, как она рождается из истории, необходимо заняться и непосредственно самой русской историей, или, по меньшей мере, русской историографией, – с целью выявить и выставить в ней на первый план те сочинения, где русское историческое бытие воссоздано объективно, а не подвергается постоянной «критике», «суду» во имя «прогресса» и других отвлеченных и поверхностных «идеалов».

* * *

Размышляя о всецело господствующем критицизме в от-

¹¹ Непомнящий В. Пророк. Художественный мир Пушкина и современность. – «Новый мир», 1987, № 1, с. 137, 138, 139–140.

ношении русской истории – критицизме, нередко приобретающем поистине экстремистский характер, – необходимо уяснить его наиболее глубокую основу.

Обращусь для этого к фигуре Ивана Грозного. Безусловное большинство историков и, далее, публицистов, писателей и т. п. рассматривают его как заведомо «беспрецедентного» и, в сущности, даже попросту патологического тирана, деспота, палача.

Нелепо было бы оспаривать, что Иван IV был деспотическим и жестоким правителем; современный историк Р. Г. Скрынников, посвятивший несколько десятилетий изучению его эпохи, доказывает, что при Иване IV Грозном в России осуществлялся «массовый террор», в ходе которого «было уничтожено около 3–4 тыс. человек»¹², – причем уничтожено во многих случаях явно безвинно и к тому же зверски, с истязаниями и наиболее тяжкими способами казни.

Но нельзя все же забывать или, вернее, не учитывать, что западноевропейские *современники* Ивана Грозного – испанские короли Карл V и Филипп II, король Англии Генрих VIII и французский король Карл IX самым жестоким образом казнили *сотни тысяч* людей. Так, например, именно за время правления Ивана Грозного – с 1547 по 1584 – в одних только Нидерландах, находившихся под властью Карла V и Филиппа II, «число жертв... доходило до 100 тыс.»¹³ – при-

¹² Скрынников Р. Г. Иван Грозный. – М., 1975, с. 191.

¹³ Григулевич И. Р. История инквизиции. – М., 1970, с. 271.

чем речь идет прежде всего о казненных или умерших под пытками «еретиках» (кстати, даже те, кто не изучал специально историю Европы, знают о чудовищном и даже садистском терроре Филиппа II из популярного исторического романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»).

Предельная жестокость казней выражалась в том, что значительная часть жертв сжигалась заживо на глазах огромной толпы и, как правило, в присутствии самих королей; по вполне достоверным сведениям, было «сожжено живьем 28 540 человек»¹⁴. Стоит сказать о том, что массовый террор XVI века нередко целиком «списывают» на инквизицию. Но это неверно; в Англии вообще не было инквизиции, а террор был не менее массовым (см. ниже); еще более важно отметить, что инквизиция представляла собой только судебную инстанцию, а приговор приводился в исполнение по воле королевской власти и ее средствами.

Французский король Карл IX 23 августа 1572 года принял активное «личное» участие в так называемой Варфоломеевской ночи, во время которой было зверски убито «более 3 тыс. гугенотов»¹⁵ – только за то, что они принадлежали к протестантству, а не к католицизму; таким образом, *за одну ночь* было уничтожено примерно столько же людей, сколько *за все время* террора Ивана Грозного! «Ночь» имела продол-

¹⁴ Лозинский С. Г. История папства. – М., 1986, с. 262.

¹⁵ Большая советская энциклопедия, третье издание, т. 4, М., 1971, с. 312.

жение, и «в общем во Франции погибло тогда в течение *двух недель* около 30 тыс. протестантов» (цит. соч., с. 264. – выделено мною. – В. К.).

В Англии Генриха VIII только за «бродяжничество» (дело шло в основном о согнанных с превращаемых в овечьи пастбища земель крестьянах) вдоль больших дорог «было повешено 72 тысячи бродяг и нищих»¹⁶.

Словом, если на Руси Ивана Грозного было казнено 3–4 тысячи человек (об этом говорит не только Скрынников, но и другой современный историк, также несколько десятилетий изучавший эпоху: «жертвами царского террора стали 3–4 тыс. человек»; однако он почему-то тут же умозаключает, что-де «царский произвол приобретал... характер абсолюта»¹⁷, то есть «беспрецедентный» характер), то в основных странах Западной Европы (Испании, Франции, Нидерландах, Англии) в те же времена и с такой же жестокостью, а также сплошь и рядом «безвинно» казнили никак не менее 300–400 тысяч человек! И все же – как это ни странно и даже поразительно – и в русском, и в равной мере западном сознании Иван Грозный предстает как ни с кем не сравнимый, уникальный тиран и палач...

Сей приговор почему-то никак не колеблет тот факт, что количество западноевропейских казней тех времен превы-

¹⁶ Осиновский И. Н. Томас Мор. – М., 1974, с. 62.

¹⁷ Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. – Л., 1988, с. 147, 122.

шает русские *на два порядка, в сто раз*; при таком превышении, если воспользоваться популярной в свое время упрощенной гегельянской формулой «количество переходит в качество», и зловещий лик Ивана Грозного должен был вроде бы совершенно померкнуть рядом с чудовищными ликами Филиппа II, Генриха VIII и Карла IX. Но этого не происходит. Почему? Кто повинен в таком возведении Ивана IV в высший ранг ультратирана и сверхпалача, хотя он безнадежно «отставал» с этой точки зрения от своих западноевропейских коронованных современников?

Нет сомнения, что в этом повинны русские общественные деятели, историки, публицисты, да и русские люди вообще. Но с определенной точки зрения главным виновником этого представления об Иване Грозном как о совершенно исключительном, из всех рядов выходящем тиране и палаче является... сам Иван Грозный, который, например, в 1573 году (то есть через год после отмены *опричнины*) в своем получившем широкую известность послании в Кирилло-Белозерский монастырь обвинял себя «в скверне, во убийстве... в ненависти, во всяком злодействе», в том, что он – «нечистый и скверный душегубец»¹⁸.

Вполне естественно было счесть Ивана Грозного непревзойденным душегубцем, если уж он и сам это всецело признает... К тому же позднее, в 1582 году, Иван Грозный официально объявил о «прощении» (как бы сказали ныне, реа-

¹⁸ Памятники литературы Древней Руси. Вып. 8-й, М., 1988, с. 144, 145.

билитации) всех казненных при нем людей и передал в монастыри огромные деньги для их вечного поминания, – по сути дела полностью признав их пострадавшими безвинно...

Ничего подобного *никогда* не делали западноевропейские властители – современники Ивана Грозного. Не менее характерно и то, что западная Церковь всячески одобряла и благословляла казни; так, сообщает историк, «папа Григорий XIII при известии о «подвигах» Варфоломеевской ночи иллюминировал Рим и важнейшие пункты своей области, выбил медаль в честь этого богоугодного дела и отправил в Париж кардинала Орсини для поздравления «христианнейшего короля и его матери» – Карла IX и Екатерины Медичи»¹⁹.

Между тем именно в это время митрополит Московский Филипп в Успенском соборе принародно отказался благословить Ивана Грозного (несмотря на его тоекратную просьбу об этом), во всеуслышание сказав: «За олтарем неповинно кровь льется христианская, и напрасно умирают». Филипп был сослан в Тверь и, по преданию, тайно убит там, но уже в 1591 году, всего через семь лет после смерти царя, его причислили к лику святых. И святитель Филипп – один из наиболее почитаемых на Руси.

Менее широко известен его прямой предшественник (образ Филиппа как бы заслонил его) – святитель Герман. Он принадлежал к славному роду Полевых, неразрывно связан-

¹⁹ Лозинский С. Г. История папства. – М., 1986, с. 264–265.

ному с деятельностью одного из величайших русских святых Иосифа Волоцкого – человека нестигаемого духа и воли, бесстрашно выступавшего против Ивана III (и затем многократно оклеветанного историками и публицистами, что длится и в наше время). В мае 1566 года (опричный террор начался в 1565) Иван Грозный возвел Германа Полева в сан митрополита, но новый глава Церкви тут же объявил, что царя ждет Страшный суд за содеянное. Иван Грозный отрешил Германа от его поста, и 27 июля 1566 года митрополитом (до 4 ноября 1568 года) стал Филипп, в конечном счете пошедший по пути Германа.

Резкий контраст в отношении к злодейству главы западной и глав русской Церкви в высшей степени характерен. О причинах этого контраста писали многие русские мыслители и писатели. Приведу размышление И. В. Киреевского о различии «западного» и русского человека:

«Западный, говоря вообще, почти всегда доволен своим нравственным состоянием, почти каждый из европейцев всегда готов, с гордостью ударяя себя по сердцу, говорить себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он совершенно чист перед Богом и людьми... Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки... даже в самые страстные минуты увлечения всегда готов осознать его нравственную незаконность».

И слова Достоевского: «...Пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем неоспоримо: это именно то, что он,

в своем целом, по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности) никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду!»^[23]

С этой русской «чертой» жестко столкнулись в XX веке большевики: в 1908 году Ленин, исходя из впечатлений только что закончившейся первой русской революции, писал о Толстом: «С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, – с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий...»

Как ни странно, автор этих памфлетных строк не вдумался в тот факт, что обе «стороны» на самом деле едины и неразрывны: бескомпромиссный протест против лжи и фальши в обществе, и в равной мере в *самом себе*. И напрасно здесь сказано «русский интеллигент»; на следующей же странице Ленин сам себя опроверг:

«В нашей революции... Совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов. Большая часть крестьянства плакала и молилась... Совсем в духе Льва Толстого». И даже более того: «Не раз власть переходила в войсках в руки солдатской массы, – но... через пару дней, иногда через несколько часов, убив какого-нибудь ненавистного начальника, они освобождали из-под ареста остальных, вступали в переговоры с властью и затем ста-

новились под расстрел, ложились под розги... – совсем в духе Льва Николаевича Толстого!»²⁰

Здесь совершенно правильно выявлено *единство* общего народного представления о добре и зле, равно присущего графу и великому писателю Толстому и каждому, любому крестьянину, – в том числе и облаченному в солдатскую форму. Против этого сформировавшегося в течение веков русского нравственного склада и боролись всеми силами большевики...

Могут сказать, что большевикам, начиная с 1917 года, удалось «переделать» русский народ, вышибить из него его извечную сущность. Но следует задуматься над тем, что за все три с половиной десятилетия (1918–1953) массового террора в России среди людей, принимавших главные, основные решения, почти не было русских; когда же после смерти Сталина-Джугашвили во главе страны впервые после 1917 года оказались русские, террор сразу же прекратился; с 1954 по 1984 год в стране не было *ни одной* политической казни (не считая убитых при подавлении «бунтов», что бывает в любой стране).

Но вернемся к Ивану Грозному. Не кто иной, как Сталин, резко осудил его за его «русскость»: «Иосиф Виссарионович отметил, что он (Иван IV. – В. К.)... не довел до конца борьбу с феодалами, – если бы он это сделал, то на Руси не было бы Смутного времени... Грозный ликвидирует одно семейство

²⁰ Ленин В. И. О литературе и искусстве. – М., 1986, с. 132, 133, 134.

феодалов, один боярский род, а потом *целый год кается и замаливает «грех»* (именно так – в кавычках. – В. К.), тогда как ему нужно было бы действовать...»²¹.

Но если уж сам Иван Грозный так себя вел, вполне понятно отношение к нему. Его западные современники Генрих VIII или Карл V – исключительно высоко почитаемые в своих странах исторические деятели, которым воздвигнуты гордые памятники. Между тем даже памятник Тысячелетия России в Новгороде (1862), где воссозданы облики 109 русских деятелей, отвергнул Ивана Грозного; его фигура там отсутствует (не говоря уже о «специальных» монументах – их нет).

И Россия сумела убедить и себя, и весь остальной мир, что угнетателя и злодея таких масштабов никогда дотопе не рождала Земля. Одно из не столь уж крупных выражений мирового зла было превращено в будто бы уникальное, ни с чем не сопоставимое на Земле «чисто» *русское* зло.

Подчас те или иные историки пытались как-то «скорректировать» это заведомо ложное представление. Так, например, польский историк России Казимир Валишевский писал в своем сочинении «Иван Грозный» (1904): «В свой век Иван имел пример... в 20 европейских государствах, нравы его эпохи оправдывали его систему... Просмотрите протоколы... того времени. Ужасы Красной площади покажутся вам превзойденными. Повешенные и сожженные люди, обрубки

²¹ Черкасов Н. К. Записки советского актера. – М., 1953 с. 382, 383.

рук и ног, раздавленных между блоками... Все это делалось среди бела дня, и никого это не удивляло, не поражало»²².

Но возражение Валишевского (хотя он был в свое время очень популярным автором) отнюдь не было услышано. И существенную причину этого невольно, бессознательно объяснил сам Валишевский, заметив, что на Западе массовое и жесточайшее уничтожение людей «никого не удивляло, не поражало». Совсем по-иному обстояло дело в России...

В последнее время в одном из обращенных к широкому читателю сочинений была предпринята попытка снять ореол «исключительности» с террора Ивана Грозного: «Иван IV был сыном... жестокого века», – пишут видные историки этой эпохи, – с присущим ему «истреблением тысяч (на деле – *сотен тысяч*. – В. К.) инакомыслящих... деспотическим правлением монархов, убежденных в неограниченности своей власти, освященной церковью, маской ханжества и религиозности прикрывавших безграничную жестокость по отношению к подданным... Французский король Карл IX сам участвовал в беспощадной резне протестантов в Варфоломееву ночь, 24 августа 1572 г., когда была уничтожена добрая половина родовитой французской знати. Испанский король Филипп II... С удовольствием присутствовал на бесконечных аутодафе на площадях Вальядолида... В Англии, когда возраст короля или время его правления были кратны числу «семь», происходили ритуальные казни: невинные жерт-

²² Валишевский К. Иван Грозный. – СПб., 1912, с. 291–292.

вы должны были якобы искупить вину королевства. По жестокости европейские монархи XVI в... были достойны друг друга»²³.

Но это – только небольшая «оговорка» в сочинении, которое в целом не выходит за рамки привычного возведения Ивана Грозного в «сверхпалачи». Так, авторы бегло отмечают, что «цена, которую уплатила Россия за ликвидацию политической раздробленности, не превосходила жертв других народов Европы, положенных на алтарь централизации. Первые шаги абсолютной монархии в странах Европы сопровождались потоками крови подданных» (там же, с. 132). Тут бы и указать, что эти «потоки» на Руси в действительности были в сто раз менее «полноводными»... но слишком сильна инерция. И уже после издания цитируемой работы, непосредственно в наше время (1991 г.) появляется сочинение воинствующего разоблачителя «русского безобразия» В. Б. Кобрин, который пишет, что-де эпохе Ивана Грозного присущ «невероятный масштаб репрессий, кажущийся *избыточным*²⁴. «Невероятный», «избыточный» – по сравнению с чем? С сотнями тысяч замученных и казненных тогда в Испании, Франции, Англии, Голландии? Кобрин ссылается на, так сказать, бесспорный авторитет: «В. И. Ленин, – пи-

²³ Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982, с. 125.

²⁴ Кобрин В. Б. Иван Грозный: Избранная рада или опричнина. – В кн.: История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX вв. М., 1991, с. 161.

шет он, – подчеркивал, что русское самодержавие «азиатски дико», что «много в нем допотопного варварства» (там же, с. 146). Но ведь европейцы Филипп II или Карл IX поистине грандиозно превзошли «азиата» Ивана IV!.. Кобрин оспаривает количество жертв террора, выясненное Р. Г. Скрынниковым: «Погибло, – пишет он, – от трех – четырех тыс. (по подсчетам Р. Г. Скрынникова) до 10–15 тыс. человек (как полагает автор настоящего очерка)» (цит. изд., с. 137).

Различие в том, что Скрынников опирается на тщательнейшее изучение вопроса, а Кобрин попросту «полагает». Но ведь и у него речь идет все-таки максимум о полутора десятках тысяч, а не о сотнях тысяч, как в Западной Европе... Почему же Кобрин твердит о «невероятном масштабе репрессий» и повторяет ленинские изречения о некоей «азиатской дикости» и «допотопном варварстве»? Ленина, между прочим, еще можно «понять»: он стремился как-то «оправдать» революционный террор. Но для чего Кобрин пытается внушить читателям, что-де «русский» террор «невероятен» по масштабу? При этом Кобрин идет на сознательную ложь, ибо в его сочинении все же промелькнуло знание реального положения вещей: «По всей Европе, – написал он, – в те времена, когда идет становление единых государств, как по заказу появляются на престолах тираны – Людовик XI во Франции, Генрих VIII в Англии, Филипп II в Испании... Не закономерность ли?» (цит. соч., с. 145). Вот бы и поговорить об этой «закономерности» и действительных «масштабах»

порождаемых ею репрессий в Европе и, с другой стороны, в России. Но Кобрин более ничего об этом не сказал, и, конечно же, его цитированная только что фраза едва ли окажет какое-либо воздействие на читателей. У этого автора главная цель – проклясть в лице Ивана Грозного саму Россию...

* * *

Сокрушительные проклятья по адресу Ивана Грозного начались при его жизни и продолжаются до нашего времени. И их невозможно и ни в коем случае не следует прекращать – иначе *мы перестанем быть русскими*.

Но вместе с тем необходимо все же глубоко и основательно понять, что дело вовсе не в некоей исключительности, некоем «превосходстве» русского зла над *мировым злом*, а, если угодно, в исключительности *русского отношения к своему, русскому злу*.

Мы еще вернемся к этой теме; здесь же скажу так: нам следует в конечном счете не сгорать от стыда за то, что у нас был Иван Грозный (ибо он далеко «отстал» в сеянии зла от своих испанских, французских, английских современников), а с полным правом гордиться тем, что мы, русские, вот уже четыреста с лишним лет никак не можем примириться со злом этого своего царя...

Впрочем, это явно напрасная надежда: русские люди в своем большинстве все равно будут терзаться тем, что у них

был Иван Грозный.

Стоит привести в связи с этим еще один выразительный «пример». В 1847 году Александр Герцен эмигрировал из России, поскольку считал свою родину средоточием зла, своего рода «апогей» которого он видел в казни пяти участников восстания 14 декабря. Он не мог не знать, что с 1775 (подавление пугачевского бунта и казнь шести его главарей) и до 1847-го – то есть почти за 75 лет, – казнь декабристов была *единственной* казнью в России. И все же он отказывался жить в стране, где возможна такая неслыханная жестокость.

Однако не прошло и полутора лет после отъезда Герцена в благословенную Европу, и непосредственно на его глазах были в течение всего трех дней расстреляны *одинадцать тысяч* участников парижского июньского восстания 1848 года. Поначалу бедный Герцен почти обезумел от ужаса и написал своим друзьям в Москву совершенно «недопустимые» слова: «Дай Бог, чтобы русские взяли Париж, пора окончить эту тупую Европу!...» Сообразив, что его оголтелые западнические друзья будут крайне возмущены таким пожеланием, он бросил им обвинение: «Вам хочется Францию и Европу в противоположность России так, как христианам хотелось рая – в противоположность земле...»

Я стыжусь и краснею за Францию...

Что всего страшнее, что ни один из французов не оскорблен тем, что делается...»

Это последнее наиболее важно: Герцен «стыдится», а

французы – нисколько. Но Герцен все же остается русским: отдышавшись после шока 1848 года, он через восемь лет начал издавать в Лондоне альманах «Полярная звезда», на обложку которого поместил силуэты пяти мучеников-декабристов – как неумолимый укор России. И Европа «согласилась» с Герценом: в массе изданных там сочинений казнь декабристов квалифицируется как выражение беспрецедентной жестокости, присущей именно России...

Могут сказать, что после 1917 года Россия сравнялась или даже превзошла Запад с точки зрения массовости и жестокости террора. Однако нетрудно доказать, что после Октября началось очевидное подражание типичному для Запада революционному террору. Вот очень выразительная последовательность руководящих указаний Ленина.

Через десять дней после Октябрьского переворота, 17 ноября 1917 года, он заявил: «Нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали *безоружных* людей (тогда было гильотинировано публично более 16 тысяч человек. – В. К.), мы не применяем» (Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 35, с. 63). Таким образом, русская революция здесь прямо противопоставлена французской, которая, помимо гильотинирования, топила переполненные людьми барки, палила из пушек картечью по связанным вместе веревками десяткам и сотням крестьян и т. п.

Однако прошло немногим более полугода, и Ленин «пере-

смастривает» свою позицию в директивной речи 5 июля 1918 года: «Нет, революционер, который не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни. Не было ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых не было бы расстрелов»; в частности те, кто «не хочет продавать хлеб по ценам, по которым продают средние крестьяне, те – враги народа, губят революцию и поддерживают насилие, те – друзья капиталистов! Война им и война беспощадная!» (т. 36, с. 503, 506). Это полностью соответствует практике Французской революции, только вместо «друзья капиталистов» там говорилось «друзья аристократов» (из числа казненных около 90 процентов не принадлежали ни к аристократии, ни к духовенству).

20 августа 1918 года Ленин так отвечает на западноевропейские обвинения: «О, как гуманна и справедлива эта буржуазия! Ее слуги обвиняют нас в терроре... Английские буржуа забыли свой 1649, французы свой 1793 год» (т. 37, с. 59). И 10 ноября 1918-го о расстреле Николая II: «...В Англии и Франции царей казнили еще несколько сот лет тому назад, это мы только опоздали с нашим царем» (там же, с. 177).

Именно обращением к Французской революции Ленин обосновывает и оправдывает террор, направленный уже не против «капиталистов», а против *народа* как такового. В июле 1919 года он пишет:

«Никогда не бывало в истории и не может быть в классовом обществе гражданской войны эксплуатируемой мас-

сы с эксплуататорским меньшинством без того, чтобы часть эксплуатируемых не шла за эксплуататорами, вместе с ними, против своих братьев. Всякий грамотный человек признает, что француз, который бы во время восстания крестьян в Вандее за монархию и за помещиков стал оплакивать «гражданскую войну *среди крестьян*», был бы отвратительным по своему лицемерию лакеем монархии» (т. 39, с. 143).

Крестьяне Вандеи (северо-западная часть Франции) выступили против нового, гораздо более жестокого деспотизма революции, и «по наивысшим оценкам погиб 1 млн. человек, а по наиболее вероятным – 500 тыс... В результате... целые департаменты обезлюдели»²⁵. Поскольку во Франции было тогда примерно 20 млн. крестьян, только в Вандее их, следовательно, погибло от 2,5 до 5 процентов... Это вполне соответствует доле уничтоженных на Дону и на Тамбовщине в 1919 и 1921 годах крестьян России. Так что после 1917 года Россия действительно «догнала» Запад по размаху террора. Но это отнюдь не вытекало из русских «традиций», что ясно видно из многократных апелляций Ленина к западноевропейскому «опыту».

А. И. Солженицын с полной обоснованностью сказал в своем «Архипелаге ГУЛАГе»: «Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать – тридцать – сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет... ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои по-

²⁵ Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. – М., 1960, с. 239.

шли бы в сумасшедший дом. Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее?»²⁶. Да, русская жизнь не готовила людей к столь массовому и беспощадному террору...

И еще одно необходимое замечание. В 1989 году Франция самым торжественным и восторженным празднеством встретила юбилей своей революции. Между тем, как мне представляется, в России отныне, после – пусть и неполного – выявления истинной картины революции, вряд ли когда-либо будет возможно ее восхищенное прославление (хотя, конечно, историография еще даст *объективный* анализ совершившегося), – так же, как невозможно в России «оправдание» Ивана Грозного...

* * *

И вот какой итог следует подвести предшествующим размышлениям. Говоря об отечественной истории, необходимо различать две принципиально разные вещи: *реальное* содержание и значение той или иной эпохи, того или иного явления и, с другой стороны, русское *нравственное отношение* к этим эпохам и явлениям, нашу этическую «оценку» их.

²⁶ Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. – М., 1989, т. 1, с. 99.

Ничто не заставит русских людей «отменить» нравственный приговор тому же Ивану Грозному, но, изучая историю его времени, необходимо все же видеть в ней одно из (и не столь уж чудовищное на фоне деяний его западноевропейских современников) проявлений всемирного зла, а не нечто исключительное, «чрезвычайное» и – что особенно возмутительно! – присущее именно и только *русской* истории.

Как ни прискорбно, в большинстве сочинений об отечественной истории, созданных и в прошлом, и в наше время, господствует тот заостренный моралистический «критицизм», о котором шла речь выше. Лев Толстой был совершенно прав в своей резкой характеристике «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, но то же самое и с еще большими основаниями следует сказать о множестве сочинений о русской истории, изданных после 1917 года.

Моя книга опирается в основном на известные очень узкому кругу людей работы русских историков, изданные в последние десятилетия, – работы, которые в той или иной степени «объективны». С ними я неразрывно связываю и осмысление судьбы русского искусства слова.

Это тем более необходимо, что за последние десятилетия изучение истории искусства слова почти полностью игнорирует, как бы даже не замечает работы многочисленных современных историков и археологов, заслуживающие самого пристального внимания.

Известный историк Руси В. Т. Пашуто (1921–1983) писал

в 1982 году, стремясь открыть литераторам глаза на тот факт, что от них как-то «ускользнул *гигантский сдвиг*, который произошел в исторической науке за последнюю четверть века (то есть с середины 1950-х годов. – В. К.), а сохранились в памяти со школьных лет лишь недостатки, рожденные историческим волюнтаризмом...»²⁷.

В том же году вышла (посмертно) книга виднейшего археолога П. Н. Третьякова (1909–1976), который обоснованно утверждал, что археологическое исследование Древней Руси «решительным образом изменилось за последние 50 лет, особенно в 50—70-х гг. текущего столетия»²⁸.

И эти оценки, безусловно, разделит каждый беспристрастный наблюдатель, если познакомится со всем объемом сделанного в историографии и археологии Руси за 1950—1980-е годы.

Однако от подавляющего большинства историков русской литературы эти достижения в самом деле «ускользнули». Выразительным примером может служить в этом отношении дискуссия «фольклор и история», развернувшаяся в 1983–1985 годах на страницах журнала «Русская литература», – дискуссия, посвященная проблеме соотношения древнерусской истории и былинного эпоса. Она продолжалась три года, в ней приняли участие *тридцать* авторов, но за исключе-

²⁷ Пашуто В. Т. Литература и история: пути творческого содружества. – «Литературное обозрение», 1982, № 7, с. 13.

²⁸ Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. – Л., 1982, с. 5.

нием одного из них – М. Б. Свердлова²⁹ – никто, в сущности, не опирался на новейшие (конца 1950 – начала 1980-х годов) исследования историков Древней Руси, хотя, между прочим, в первой же, открывшей дискуссию, статье недвусмысленно утверждалось, что с начала 1960-х годов «исследование вопроса об историзме былин застывает на мертвой точке... В чем же причины наметившегося застоя? Главная из них, на наш взгляд, заключается в том, что новейшие исследователи былин придерживаются традиционного взгляда на ход исторического развития средневековой Руси... Однако наука не стоит на месте, и ныне мы не можем довольствоваться тем, что удовлетворяло нас 30–40 лет назад»³⁰.

Совершенно верное, но, увы, почти не осуществляемое практически предложение. И речь идет, конечно, отнюдь не только об изучении исторических корней былинного эпоса: вся современная история русской литературы (за редкими исключениями) по сути дела не имеет существенной связи с исторической наукой, достаточно плодотворно развивавшейся за последние десятилетия. Во избежание недоразумений отмечу, что я имею в виду изучение не одной только литературы Древней (X–XIII вв.) и Средневековой (XIV–XVII вв.) Руси, но историю отечественной литературы в це-

²⁹ См.: Свердлов М. Б. Об историзме в изучении русского эпоса. – «Русская литература», 1985, № 2, с. 78–90.

³⁰ Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Об исторических основах русского былинного эпоса. – «Русская литература», 1983, № 2, с. 91, 92.

лом, то есть до XX века включительно.

И дабы преодолеть тот «застой», о котором – на примере изучения древнего эпоса – говорили И. Я. Фроянов и Ю. И. Юдин, необходимо, так сказать, открыть границу между исследованиями истории русского Слова и исторической наукой. В свое время этой границы как бы вообще не существовало, ибо такие люди, как Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский, Н. С. Тихонравов, А. А. Шахматов, являли собой чуть ли не в равной мере и филологов и историков. Но всеобщая тяга к специализации, дифференциации знания привела в конце концов к отчуждению филологии и истории. Был бы, конечно, совершенно неосновательным призыв вообще отказаться от специализации, но так или иначе дальнейшее плодотворное изучение истории русского Слова, по моему убеждению, немислимо без восстановления теснейшей связи с современной исторической наукой.

Глава 3

О византийском и монгольском «наследствах» в судьбе Руси

1. Русь и «Царство ромеев»

Понимание и ценностное восприятие Византийской империи в русском самосознании допетровского времени и, с другой стороны, в идеологии XIX–XX вв. – очень существенно, даже принципиально расходятся. Говоря кратко и просто, до XVIII века Византия воспринималась на Руси – в общем и целом – в самом положительном духе, а в последующее время для наиболее влиятельных идеологов характерно негативное отношение к ней. Правда, в конце XIX – начале XX в. начинает складываться и противоположная тенденция (особенно ярко выразившаяся в течении *евразийства*), но она, в свою очередь, наталкивается на сильное сопротивление, и можно без преувеличения утверждать, что и сегодня очень широко распространена более или менее «отрицательная» оценка роли Византийской империи в истории России.

Тут мне почти наверняка возразят, что дело обстоит не совсем так, ибо общепризнанно позитивное значение притягивания

Русью христианства от византийской Церкви. Однако, рассматривая проблему во всей ее многосторонности, мы убедимся, что она значительно более сложна и противоречива.

Во-первых, существует и в последнее время усиливается стремление переоценить уже и само по себе обращение к христианству, подавившему восточнославянские языческие верования, которые, по убеждению сторонников этого взгляда, воплощали в себе подлинно самобытные начала Руси.

С другой стороны, многие историки – и это не случайно – пытались и пытаются доказать, что русские в действительности восприняли христианство не из Византии, но либо из Болгарии (см., например, работы влиятельного в свое время историка М. Д. Приселкова), либо из Моравии (Н. К. Никольский), либо от норманнов-варягов (Е. Е. Голубинский); в последнее время была выдвинута еще особенная версия об ирландском происхождении русского христианства (наш современник А. Г. Кузьмин).

Наконец, очень многие из тех историков и идеологов, которые признают византийские истоки христианской Руси, вместе с тем стремились и стремятся утвердить представление о том, что древнерусская церковь – как и Древняя Русь в целом – с самого начала находилась будто бы в состоянии упорной борьбы с Византией за свою независимость, какой, мол, постоянно угрожал Константинополь.

Так, великий деятель русской церкви и культуры XI века митрополит Киевский Иларион преподносится в качестве

своего рода непримиримого борца с византийской церковью, и созданное Иларионом гениальное «Слово о законе и Благодати» с XIX века и до нашего времени пытаются толковать как якобы противовизантийское по своей основной цели и смыслу выступление.

Между тем подобное истолкование поистине нелепо; чтобы убедиться в этом, достаточно беспристрастно вдуматься хотя бы в следующее суждение митрополита Илариона – в его слова о «благовернии земли Гречьске, христороубиви же и сильне Верою, како единого Бога в Троици чтуть и кланяются, како в них деются силы и чудеса и знамения, како църкви люди предъстоять и вси Богови престоять...» Или слова о Владимире Святославиче, который «принесьша крсть (крест) от Новаго Иерусалима – Константина града». Выдающийся историк М. Н. Тихомиров не без иронии заметил в свое время: «В таких словах нельзя было говорить против Византии»³¹... Но и до сего дня Илариона тщатся изобразить неким принципиальным врагом Византии и ее Церкви...

Все это не могло не иметь существенной причины. И дело здесь, как я буду стремиться доказать, в том, что, начиная со времени Петра I, Россия и вполне реально, практически устремилась на Запад, и в своем самосознании испытывала мощнейшее воздействие западной идеологии. А Запад издавна, – можно даже сказать извечно, – непримиримо противостоял Византии.

³¹ Тихомиров М. Н. Русская культура X–XVIII вв. – М., 1968, с. 131.

...В V веке «варварские» племена, создавшие впоследствии современную западноевропейскую цивилизацию и культуру, беспощадно разгромили ослабевший Рим. Словно предвидя эту участь великого города, римский император Константин I Великий еще в 20-е годы предыдущего, IV века перенес центр империи на 1300 км к востоку, в древний греческий Византий, получивший затем имена «Новый Рим» и «Город Константина» (Константинополь). Этот город, в отличие от Рима, сумел отстоять себя в борьбе с «варварами», и Византия явилась единственной *прямой* наследницей античного мира и прожила свою богатую и сложную историю, длившуюся более тысячи ста лет.

Правда, в 1204 году – через восемь столетий после разгрома Рима – в «Новый Рим» вторглись далекие потомки тех самых варваров – крестоносцы. В основанной на многолетних разысканиях книге М. А. Заборова «Крестоносцы на Востоке» (1980) сообщается, в частности:

«В разрушительных оргиях погибли... замечательные произведения античных художников и скульпторов, сотни лет хранившиеся в Константинополе. Варвары-крестоносцы ничего не смыслили в искусстве. Они умели ценить только металл. Мрамор, дерево, кость, из которых были некогда сооружены архитектурные и скульптурные памятники, подвергались полному уничтожению. Впрочем, и металл получил у них своеобразную оценку. Для того, чтобы удобнее было определить стоимость добычи, крестоносцы преврати-

ли в слитки массу расхищенных ими художественных изделий из металла. Такая участь постигла, например, великолепную бронзовую статую богини Геры Самосской... Был сброшен с пьедестала и разбит гигантский бронзовый Геркулес, творение гениального Лисиппа (придворного художника Александра Македонского)... Западных вандалов не остановили ни статуя волчицы, вскармливавшей Ромула и Рема... ни даже изваяние Девы Марии, находившееся в центре города... В 1204 г. западные варвары... уничтожили не только памятники искусства. В пепел были обращены богатейшие константинопольские книгохранилища... произведения древних философов и писателей, религиозные тексты, иллюминированные евангелия... Они жгли их запросто, как и все прочее... Византийская столица никогда уже не смогла оправиться от последствий нашествия латинских крестоносцев»³².

Картина впечатляющая, но необходимо осознать, что едва ли сколько-нибудь уместны употребленные в этом тексте слова «варвары» и «вандалы»; к XIII веку западноевропейская средневековая культура была уже достаточно высоко развита, – ведь это время «проторенессанса»; архитектура, церковная живопись и скульптура, прикладное искусство, письменность Западной Европы переживали период расцвета, – что показано, например, в классической работе О. А. Добиаш-Рождественской «Западное средневековое ис-

³² Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. – М., 1980, с. 250–252.

куство» (1929).

Словом, поведение крестоносцев диктовалось не их чуждостью культуре вообще, но чуждостью и, более того, враждебностью по отношению именно к *Византии* и ее культуре, – потому и вели они себя примерно так же, как их действительно еще «варварские» предки, захватившие Рим в далеком V столетии...

Чтобы признать справедливость этого утверждения, достаточно, полагаю, познакомиться с «позицией» основоположника ренессансной культуры Запада – Франческо Петрарки. Через полтора столетия после захвата Константинополя крестоносцами, в 1352 году, Византии в очередной раз нанесли тяжелейший ущерб генуэзские купцы-пираты (генуэзцы и венецианцы вообще сыграли главную роль в крушении Византии; турки в 1453 году захватили уже почти бессильный к тому времени Константинополь). И Петрарка (которого не заподозришь в недостатке культуры!) писал в своем послании «Дожу и Совету Генуи», что он «очень доволен» разгромом «лукавых малодушных гречишек» и хочет, «чтобы позорная их империя и гнездо заблуждений были выкорчеваны вашими (то есть генуэзскими. – В. К.) руками, если только Христос изберет вас отмстителями за Свое поношение и вам поручит возмездие, не к добру затянутое (даже так! – В. К.) всем католическим народом» (Ф. Петрарка. Книга о делах повседневных. XIV, 5. – Перевод В. В. Библина).

Но вернемся еще раз к «крестоносному» разгрому Константинополя в 1204 году. При мысли о нем естественно напрашивается чрезвычайно выразительное сопоставление. В 988 или 989 году, то есть еще за два столетия с лишним до нашествия крестоносцев, русский князь Владимир Святославич овладел главным византийским городом в Крыму – Херсонесом (по-русски – Корсунью). Как и Константинополь, Херсонес был создан еще в древнегреческую эпоху и являл собой подобное же совокупное воплощение античной и собственно византийской культуры. До недавнего времени в историографии господствовало мнение, согласно которому русское войско, войдя в Херсонес, будто бы обошлось с городом так же, как крестоносцы с Константинополем, – разрушило и сожгло все до основания и дотла. Однако в новейших исследованиях вполне убедительно доказано, что никакого урона Херсонес тогда не претерпел (см. «Византийский Временник» на 1989 и 1990 гг., – то есть тома 50 и 51), – о чем свидетельствует, кстати, и русский летописный рассказ о взятии Корсуни. Правда, Владимир Святославич увез в Киев ценные трофеи; как сказано в летописи, «взя же ида, 2 капища медяны и 4 кони медяны, иже и ныне стоять за Святою Богородицею, якоже несведуще мнять я мрамаряны суща» («взял с собой, уходя, двух бронзовых идолов и четырех бронзовых коней, что и теперь стоят за церковь Святой Богородицы, и которых невежды считают мраморными»). Сама детальность рассказа убеждает, что в начале XII века (ко-

гда создавалась «Повесть временных лет») бронзовые фигуры людей и коней все еще красовались в центре Киева. И это отношение русских (еще в X веке!) к ценностям культуры Византии о многом говорит. Мне, правда, могут напомнить, что и фактический руководитель похода крестоносцев в 1204 году, венецианский дож Энрико Дандоло спас от уничтожения четверку бронзовых коней, изваянных тем же Лисиппом, и ее привезли из Константинополя в Венецию. Но это было все же *исключением* на фоне тотального уничтожения византийских культурных сокровищ... А поскольку, как уже отмечено, ровно никаких достоверных сведений о «варварском» поведении русских в Херсонесе нет, приходится сделать вывод, что версия о мнимом разорении этого византийского города в 988 (или 989) году сконструирована историками XIX века «по образцу» опустошения Константинополя в 1204 году... На деле отношение Запада и Руси к Византии было принципиально различным.

* * *

Здесь невозможно охарактеризовать всю многовековую историю взаимоотношений Руси и Византии, начиная с хождения в Константинополь первого (правившего на рубеже VIII–IX вв.) киевского князя Кия, который, по летописи, «велику честь приял» от византийского императора. Остановимся только на первом *военном* столкновении русских и ви-

зантийцев. 18 июня 860 года войско Руси осадило Константинополь (сведения о более ранних подобных атаках недо-
стоверны). Новейшие исследования показали, что этот по-
ход был совершен под диктатом Хазарского каганата. Это
неоспоримо явствует, в частности, из того факта, что в том
же 860 году Византия отправила посольство во главе со свя-
тыми Кириллом и Мефодием *не в Киев*, а в тогдашнюю сто-
лицу Хазарского каганата – Семендер на Северном Кавказе
(есть, правда, серьезные основания полагать, что на обрат-
ном пути это посольство посетило и Киев). Отмечу еще, что
в одном из позднейших византийских сочинений предводи-
тель похода на Константинополь (это был, очевидно, киев-
ский князь Аскольд) точно определен как *«воевода кагана»*
(то есть властителя Хазарии).

Особенное, даже исключительное значение имеют для нас
рассказы непосредственного свидетеля и прямого участника
событий – одного из наиболее выдающихся деятелей Визан-
тии за всю ее историю, константинопольского патриарха св.
Фотия (он, кстати сказать, называет русских «рабствующим»
народом, – имея в виду, как полагают, тогдашнюю подчинен-
ность Руси Хазарскому каганату; именно по его инициативе
и было отправлено к хазарам посольство его великих учени-
ков св. Кирилла и Мефодия).

Св. Фотий свидетельствовал, что в июне 860 года Кон-
стантинополь «едва не был поднят на копье», что русским
«легко было взять его, а жителям невозможно защищать»,

что «спасение города находилось в руках врагов и сохранение его зависело от их великодушия... город не взят по их милости» и т. п. Фотия даже уязвило, как он отметил, «бесславию от этого великодушия». Но так или иначе 25 июня жители Константинополя неожиданно «увидели врагов... удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения».

Впоследствии, в XI веке, византийские хронисты, не желая, по всей вероятности, признавать это русское «великодушие», выдумали, что будто бы буря по божественной воле разметала атакующий флот (эта выдумка была воспринята и нашей летописью). Между тем *очевидец* событий Фотий недвусмысленно сообщает, что во время нашествия русских «море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плавание».

Позже патриарх Фотий писал, что «россы» восприняли «чистую и неподдельную Веру Христианскую, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей, вместо грабления нас и великой против нас дерзости, которую имели незадолго»³³

³³ Из произведений патриарха Фотия. – В кн.: Материалы по истории СССР. Вып. 1. – М., 1985, с. 267–270.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Фрагменты статей, интервью, диалогов, рукописей.

2.

Федор Иванович был первым внуком поэта, ставшего его крестным отцом и с удовлетворением написавшего об его рождении: «Я уже не предпоследний» (то есть меня «продолжает» не только сын, но и внук).

3.

Речь идет именно о путешественниках, а не об эмигрантах; за период с 1897 до 1913 г. Россию покинули всего 2,5 млн. эмигрантов (уехавших главным образом в США), в том числе более 1 млн. евреев и около 1 млн. поляков. За те же годы в Россию переселились из других стран 1,5 млн. иммигрантов.

4.

Школа Св. Анны (нем.). – Ред.

5.

Написано В. В. Кожинным в 9 лет.

6.

Написано В. В. Кожинным в 19 лет. Предположительно

посвящено двоюродному брату Е. В. Пузицкому.

7.

Публикуется впервые. Рукопись для публикации предоставлена Еленой Владимировной Ермиловой.

8.

Странное, «перевернутое» соотношение дат: отец родился в 1903 году, и когда ему было 11 лет, в 1914-м, началась война; я родился в 1930-м, война началась в 1941-м.

9.

На этом рукопись автобиографии прерывается.

10.

Кстати сказать, несколько ранее именно на страницах «Октября» вошел в литературу Василий Шукшин.

11.

Вопросы литературы. 1985, № 12. С. 113.

12.

Наш современник, 1993. № 1. С.153.

13.

Наш современник. 1993. № 1.

14.

Правда, западноевропейские государства превращали в свои колонии земли не только Азии, но и Африки, Америки и Австралии.

15.

Возможно, что сегодня, после «реформ», весьма значительная часть этих людей покинула «север».

16.

Точнее, Северо-Атлантическому.

17.

Стоит упомянуть, что зима в Кубанской степи, расположенной почти на 2000 км южнее Скандинавии, все же продолжительнее и суровее, чем в южных частях Норвегии и Швеции!

18.

См. подробный обзор этих исследований в моей книге «История Руси и русского Слова. Современный взгляд» (М., 1997, второе дополненное издание – М., 1999).

19.

Вот, например, выразительный показатель: в 1989 году

в Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Грузии, Армении более или даже намного более значительная (в 1,6 раза!) доля семей, чем в РСФСР, имела легковые автомобили (см.: Социальное развитие СССР. Статистический сборник. М.: 1990, с. 144).

20.

В высшей степени характерно, что великий русский композитор А. П. Бородин подарил половцам своего рода бессмертие в своих известных всему миру «Половецких плясках».

21.

Подробно о ней см. ниже.

22.

Итак, из 954 монастырей 754 было ликвидировано, и осталось всего 200. В XIX – начале XX века многие монастыри были восстановлены, а также созданы сотни новых; к 1917 году в стране имелось более 1200 монастырей (см. Статистику в кн.: Зыбковец В. Ф. Национализация монастырских имуществ в Советской России. М., 1975).

23.

См. подробную характеристику безграничного стремления русских людей к крайнему «самокритицизму»,

самоосуждению в моей статье «И назовет меня всяк сущий в ней язык...». Заметки о духовном своеобразии России» («Наш современник», 1981, № 11, или в книге: Вадим Кожин. Судьба России: вчера, сегодня, завтра. М., 1990).